

П. Д.  
БОБОРЫКИН



*Избранное*



## Annotation

Повесть о художественной жизни начала 20 века.

---

- [Петр Боборькин](#)
    -
-

# Петр Боборыкин

## Однокурсники

### I

Яркий сентябрьский день обливал веселым светом площадку, где скошенная пирамида часовни стоит на перекрестке от Моховой к Охотному ряду.

В воздухе разлит запах ядерных яблоков. Он шел от Охотного. И глазом можно схватить ряд столов с горками фруктов, крымских груш, антоновки, виноградных кистей, арбузов, лимонов, кровяно-красных помидоров.

Оттуда же доносится гул торга у столов, на тротуаре с влажными, покосившимися плитами.

Треск дрожек, вверх и вниз по Тверской, по Охотному, и в сторону Моховой, ни на минуту не смолкает.

По тротуару от университетских зданий – взад и вперед – то и дело мелькают синие околыши фуражек. Это движение молодежи увеличивается каждый час, немного раньше и тотчас после перемены в аудиториях Нового университета.

На кремлевской башне пробило половину двенадцатого.

По тому же тротуару, от ректорского дома к церкви, выкрашенной в красно-бурую краску, шел студент, с поношенным пальто внакидку, рослый, худой брюнет, в бороде; на вид сильно за двадцать. На крупном носе неловко сидели очки. Волосы он запустил довольно длинные. Цвет околыша фуражки и воротника показывал, что он донашивает свое платье. И сюртук и пальто были под стать цвету голубого сукна.

Он шел медленно, оглядывал улицу, смотрел и вдаль, на Охотный, – и его продолговатое, загорелое, умное лицо улыбалось и серыми большими глазами, и таким же большим, свежим ртом.

Чувствовалось, что он идет не с лекции, что у него нет никакой "спешки".

Все его лицо говорило как будто о том – как ему приятно очутиться опять в Москве, на Моховой, в том студенческом царстве, которое придает этой части города такой особенный характер.

Ему попадались студентики-новички. И он, улыбаясь, смотрел на их форму с иголочки и ярко блестящие на солнце козырьки и позолоченные пуговицы. Их безусые и безбородые юные лица со свежими щеками, особенной ясностью глаз и немного забавной серьезностью всей повадки – тешили и трогали его.

И он был таким же пять лет назад.

Его подмывало остановить такого юнца и заговорить с ним так, ни с того ни с сего, узнать, откуда он, на какой факультет поступил и где устроился квартирой.

Он мысленно давал им отметки:

"Этот – из провинции, а тот вон – здешний гимназист, а вот этот наверно – хват лицеист".

Он слышал обрывки разговоров:

– Завтра Римское в десять!

– Ты куда закатаешься?

– Мы в Малый.

– А мы в Каретный ряд!

– "Царя Федора" не видал еще?

Все так же, как и в его время. Когда ввалишься сюда "из губернии", сейчас же потянет в театр – вон туда, на площадь, в то некрасивое приземистое здание без фасада против гостиницы "Метрополь", с невзрачным подъездом. Оно повито именами Щепкина, Мочалова, Садовского, Шумского. Последний полтинник идет туда, особенно на первых порах, с художественного голода глухого губернского города, где нет даже постоянной труппы.

И им теперь все это в диковинку. Да и аудитория как действует на первых порах!..

"Даже и теперешняя!" – прибавил он мысленно.

Все равно – что бы они ни нашли в этих старых залах, уже тесных для такой "уймы" студенчества, крылатые слова или мертвечину, самобытные идеи или параграфы учебников – нужды нет! – они тут только стряхнут с себя ненавистную узду гимназической муштры, здесь только почувствуют себя в огромной семье сверстников, здесь только будут знать – за что стоять, чего ждать от жизни, кто друг, кто враг; здесь только идейные течения захватят их и потребуют не одних слов, а и личной расплаты...

Ничего! Пускай немного поплатятся, – только бы не совсем искалечить свою жизнь.

Он поправил рукой полу своего старенького пальто и покосился на ряд пуговиц, давно поблеклых.

Ему как бы не верилось, что он опять принят в студенты, опять в Москве, и будет ходить в то здание, откуда вышел пять минут назад, и может, в конце года, приступить к государственному экзамену.

Кто знает!.. Может быть, и опять на чем-нибудь "сковырнется".

Отвечать за себя – трудно. И если б для вторичного принятия в студенты требовалась торжественная клятва – он бы не дал ее.

Но все равно!

Он – "великовозрастный" студент, Иван Заплатин – опять здесь, и вот поднимается по Тверской к бульвару, где завернет в студенческий ресторан, на углу Бронной. Может, кого-нибудь и встретит из своих однокурсников.

Вряд ли – сегодня. Здешние, московские – кто на службе – чинушем или адвокатом, а кто уехал в провинцию. Человека два-три пошли по ученой части. Но и таких, как он – оказалось немало, которых "водворяли на место их родины".

И его водворили в уездный городок на Волге, где он просидел больше года.

Он не сожалеет. Много он кое-чего узнал в это подневольное сидение, вошел в жизнь своей родной "палестины", поездил и по уезду, попадал в лесные трущобы, присматривался к расколу, "бегал" на пароходах вверх и вниз – разумеется, все это более или менее контрабандой. Надзор был не особенно строгий. Запрет лежал только вот на этом городе, куда его опять стало тянуть, на Моховую.

Раньше – он мало знал свои родные места, Гимназистом приезжал только на вакации; да и то в старших классах брал кондиции, готовил разных барчат в юнкерское училище или подвинчивал их насчет древних языков и математики. Студентом на зимние вакации не ездил, а летом также брал кондиции, в последние два года, когда, после смерти отца, надо было прикончить дело, которым держались их достатки.

По отцу он купеческого сословия; а мать – дочь чиновника, попавшего в их город, вроде как "штрафным", из не кончивших курсы студентов. В их городе он и пробивался кое-чем, больше по статистике, умер рано, дочь осталась сиротой, и отец его взял ее "по любви".

У отца было небольшое канатное заведение – из рода в род. Кое-как оно держалось; а когда он умер – оказались долги, и заведение продали для покрытия их.

Остался домик, в два этажа, полудеревянный, полукаменный. Верхнее жилье отдается внаймы. С этого мать его и живет.

Ему бы надо было поступить в реальное училище, а потом идти в техники или путейцы, а то так прямо в нарядчики или в конторщики на

пароходную пристань.

А в нем не то бродило. Должно быть, "атавизм" от деда со стороны матери. О гимназии он еще "карапузиком" начал мечтать и даже просил взять ему репетитора-дьякона в соборе, чтобы подготовить к классической муштре.

Родом он волжский обыватель, из мужиков; только дед приписался к третьей гильдии, – и лицо у него бытовое, в отца, а душа вышла не купеческая, и не чиновничья, и не дворянская, а "общерусская", как он сам называл.

Не кичится он тем, что принадлежит к "интеллигенции"; но и не огорчается тем, что университет дал ему такую "осечку"; не жалеет и о том, что не готовил себя в люди практического дела, не обеспечил себе никакого технического заработка.

По собственному выбору поступил он на юридический факультет, не смущаясь тем, что и без него слишком много народу накидывается на то же.

Ученого призвания он в себе не признавал, а учительствовать – классиком или преподавателем математики – одинаково не манило его. Не хотел он превращаться в одного из тех "искариотов", какими угостила и его гимназия.

Ничего не было выше для него науки об обществе, о его нуждах и запросах, о тех законах развития, в которых потребности ведут к выработке всего, чем красится и возвышается жизнь.

А чем он будет жить, когда простится с "alma mater", – он и теперь не очень-то много думает.

Сколько он наслушался и там, на родине, во время подневольного пребывания в своем приволжском городе, нынешних возгласов:

"Не нужно нам умственного пролетариата! Слишком много шатается по Руси всех этих умников, ни на какое настоящее дело не пригодных!"

Слова: "интеллигенция" и "интеллигент" – произносятся с особым выражением, почти как смехотворные прозвища.

А ему они до сих пор дороги. Нужды нет, что они переделаны с иностранного. Без них небось никакой разговор не ведется.

Не станет он сам себя величать: "я интеллигент"; но не будь он из этого "сословия", – что бы в нем сидело? Какие устои? Какие идеи и упования?

Не смущает его то, что теперь и у нас, в Европе, в такой передовой стране, как Франция, раздаются такие же голоса.

И там кличка "intellectuel" – бранное прозвище. Но для кого? Для

реакционеров-националистов, для тех, кто с пеной у рта оплевывал лучших людей Франции, кто цинически ликовал при вторичном незаконном приговоре над невинным, потому что он – "жид".

Здесь, вот в этой Москве, куда он опять попал, как в землю обетованную, – стал он "интеллигентом" и останется им до конца дней своих.

Что нужды, что эта "первопрестольная" – как и в третьем году, как и пять лет назад, когда он впервые попал сюда, – все такая же всероссийская ярмарка. Куда ни взгляни, все торг, лабаз, виноторговля, мануфактурный товар, "амбары" и конторы, и целый "город" в городе, где круглый год идет сутолока барышничества на рубли и на миллионы рублей.

А для него и для сотен таких, как он, этот всероссийский город – очаг духовной жизни. Здесь стали они любить науку, общественную правду, понимать красоту во всех видах творчества, распознавать: кто друг, кто враг того, из-за чего только и стоит жить на свете.

Вот там, у Воскресенских ворот, в темно-кирпичном здании, где аудитория на тысячу человек, на одной публичной лекции – он только что поступил в студенты – его охватило впервые чувство духовной связи со всей массой слушателей-мужчин и женщин, молодежи и пожилых людей, когда вся аудитория, взволнованная и увлеченная, захлопала лектору.

Тут собралась вся та Москва, что стала ему дорога, как настоящая духовная родина. Пускай в ней не сто тысяч народу, пускай она составляет малый процент миллионного населения; но без нее здесь царил бы "чумазый".

Как человек купеческого рода – сколько раз он спрашивал себя: будут ли "их степенства" владеть и той Москвой, которая дорога ему, а потом и всей русской землей – как "тьерсэт\а", как третий "чин" государства, выражаясь по-нынешнему?

Как раз мимо него прокатил на низенькой, открытой пролетке, с загнутыми крыльями, на резинах, такой вот будущий единовластный обладатель Москвы, по всем признакам "их степенство" – круглый, гладкий, в светлом пальто и лоснящемся цилиндре, на призовом жеребце.

И ему показалось даже, что он где-то встречал этого молодого коммерсанта – только не мог сейчас же вспомнить – где именно.

Пускай! У них капитал, в их руках сотни тысяч рабочих, они наживают по пятидесяти процентов чистой прибыли на мануфактурах и оптовых складах. Но и они уже в выучке у интеллигенции.

Вон там, в Замоскворечье, купец завещал городу первое хранилище русского искусства, какого никто еще не собирал с такой упорной любовью.

А на Девичьем Поле целый городок выстроен на деньги "их степенств".

И тут же вдруг вспомнил он фамилию того молодого купца, в светлом пальто, что прокатил вниз по Тверской. Он – богатейший мануфактурист; но у него страсть к любительству. С ним они познакомились в одном кружке. Он – комик; и спит, и видит, как бы ему завести собственный театр.

Барыши его уже не тешат. "Пунцовый товар" для него "рукомесло", а не жизнь. Живет он только в театре, влюблен в кулисы, в игру, мечтает со временем создать такой "храм муз", какого не бывало еще ни у нас, ни на Западе.

И так пойдет жизнь дальше. Кубышка поступит на службу интеллигенции – в этом он, Иван Заплатин, купеческий сын по третьей гильдии, глубочайшим образом убежден.

В таких-то думках поднимался он на взлобок Тверской. Вот и новое Инженерное училище, где бы ему следовало быть, если б он слушался умных людей, а не был ни на что не пригодным интеллигентом.

Сейчас площадь – с памятником великого поэта.

Точно в первый раз глядит он на бронзовую фигуру с курчавой, обнаженной головой, склоненной несколько набок. И сколько воспоминаний нахлынуло из самого недавнего прошлого! Давно ли чествовали столетнюю годовщину певца "Онегина" и "Медного Всадника"? А то, первое торжество, когда открывали памятник и вся грамотная Россия вздрогнула от наплыва высшей радости! И те, кто говорил в великие пушкинские дни, – уже тени... Ему их никогда не видеть.

Вокруг памятника расселось много народа: няньки с детьми, мастеровые, старушки, студенты и молодые женщины в кофточках и платочках, все так же, как и прежде.

Ему припомнилась целая сцена. Подальше, на той площадке, где кофейная, сидела большая компания студентов. Дело было весной, перед экзаменами.

Давно повелось – у некоторых шатунов бульвара – приставать, под вечер, ко всем молодым женщинам. Это его всегда возмущало. Он не вытерпел и дал окрик на целую кучку товарищей. Его хотели поднять на смех; но он себя не помнил, весь дрожал от возбужденного чувства. Те постихли и даже удалились.

Случилось это во второй год его студенчества.



«Он, он!» – вскричал Заплатин мысленно, остановился и еще раз поглядел вперед.

– Наверно! – выговорил он вслух и прямо подошел к молодому мужчине, который, идя ему навстречу, держался левее, около боковой аллеи.

– Кантаков, – здравствуйте! Иль не узнали?

– А ведь и то не сразу! Заплатин!

– Он самый.

Они поцеловались.

Тот, кого Заплатин окликнул Кантаковым, был почти такого же роста и такой же худощавый, но старше, лицо загорелое, со светло-русой бородой. Одет точно по-дорожному: большие сапоги и куртка из толстого сероватого драпа; на голове мягкая, поярковая, помятая шляпчонка.

Лицо его скрашивали карие глаза, слегка прищуренные. Он немного гнулся, руки его часто приходили в движение, и бровями он поводил, как только оживлялся в разговоре, голос его чуть-чуть вздрагивал, теноровый, приятный, с легкой картавостью.

– Опять в Москве... и в форме? – спросил он Заплатина, все еще держа его за руку.

– Как видите!

Они были приятельски знакомы перед "удалением" Заплатина, но не на "ты". Кантаков уже два года, как кончил курс.

Он долго считался "вожаком" между юристами, стал славиться красноречием на сходках и тотчас же пошел по адвокатуре. Его имя уже попадалось Заплатину в газетных отчетах.

– Значит... допущены до окончания курса?

– Допущен.

– Небось рады?

– Не скрываю, Кантаков! Очень стосковался по Москве... И вот какая мне удача – сейчас же повстречал вас. Не хотите ли присесть... хоть на минуточку... Вам не большая спешка?

– Присядем, присядем... выкурю одну папироску. Вы, собственно, куда пробирались, Заплатин?

– Закусить... в наш Капернаум.

– В какой? В "Интернациональный"?

– Пожалуй, хоть и туда.

Кантаков вытянул часы из-под своей куртки и посмотрел.

– У меня есть еще малая толика времени. Мне и самому что-то подвело живот... раньше положенного срока. Посидим маленько и туда!...

Там еще потолкуем.

– Вы не на охоту ли собрались? – спросил Заплатин, оглянув костюм Кантакова.

– Ха, ха! Вы думаете, это у меня охотничья сбруя?

Приятель спешно закурил папиросу.

– Нет, это дорожная моя форма. Я ведь сегодня утром... ввалился в Москву... оттуда! – Он указал рукой вправо. – И вчера еще трусил на перекладных. Там не такая погода, как здесь. Везде грязь – непролазная.

– Защищать ездили?

– Это еще впереди. А для знакомства с клиентами.

– Мужички?

– Фабричные.

– Вы... никак, недавно защищали?.. Я читал.

– Как же! Про меня толкуют, видите ли, что я в Гамбетты лезу... ха, ха!.. Специальность себе сделал из фабричных беспорядков.

– Правда это?

– Правда-то правда; но с моей стороны тут умысла, спервоначала, никакого не было.

Кантаков сильно затянулся и выпустил длинную струю дыма.

У его собеседника было особенное настроение. Что-то опять приятно щекотало в груди от этой встречи с таким даровитым и сильным малым, как этот Сергей Кантаков. Что-то было в его тоне, голосе, минах и движениях подмигательное и бодрящее.

– Лихая беда – начало, Заплатин. Попали на зарубку – и пошло! Первая моя защита в этом вкусе подвернулась случайно. Уступил мне ее мой принципал, у которого я в помощниках.

– Тоже стачка?

– Как же... Пустяшное, в сущности, дело.

– На какой фабрике?

– На прядильной мануфактуре – как водится. Наш Манчестер... Их степенства – разумеется, испугались. Сейчас в губернию... команду! Все – честь честью! Буйства никакого. Ни погрома, ни хищения... а только оказательства, и довольно толковое, – значит, с уговором, а главное – скопом!

– Удалось обелить?

– Не всех, но почти что всех. Наказание – больше для прилики... С этого и началось. А потом – зима такая выдалась. Несколько было "волнений", выражаясь газетным жаргоном, – и все в одном районе.

– Вы и втянулись? Еще бы! Дело живое!

– Палат каменных на таких процессах не построишь. А теперь уж и тянет. Жалко народ. Да и совсем новый для меня мир открывается. Есть, я вам скажу, курьезные типы. И умственность у некоторых замечательная, особенно у молодых, которым не больше тридцати лет. Это совсем другая полоса пошла.

– Четвертое сословие! – вставил Заплатин.

Кантаков прищурился на него и повел своим подвижным, нервным ртом...

– Вы, дружище, зашибаетесь? – шутливо спросил он.

– Чем, Сергей Павлович?

– Да насчет этого самого экономического материализма?

Заплатин поглядел в сторону – на проходивших мимо, вверх и вниз, по главной аллее бульвара.

– Ха, ха! – тихо рассмеялся Кантаков. – Опаску имеете? Должно быть, там вас доезжали соглядатаи?.. На родном-то пепелище?

Щеки Заплатина быстро порозовели. Ему стало немного обидно – точно он, и в самом деле, трусом стал. А он не сразу ответил, потому что и сам еще не вполне разобрался в этом течении.

Но Кантаков не такой парень, чтобы пожелал его обидеть или на смех поднять.

– Соглядатаи, вы говорите, Сергей Павлович?.. Нет, настоящего надзора не было. Так, больше для проформы. Но обыватели – лютые. Какая-то хлесткая корреспонденция явилась в одном московском листке с обнажением разных провинностей и шалушек. Поднялся гвалт на весь уезд... Корреспонденция без подписи. Кто сочинял? Известно кто – штрафной студент. И начался всеобщий дозор... Даже до курьезов доходило! Мне-то с пола-горя; а матушке было довольно-таки неприятно.

– У вас ведь отец умер?

– Давно уж.

Заплатин ближе подсел к Кантакову.

– Вы меня вашим вопросом не то что озадачили... Теперь он – самая обыкновенная вещь. Только об этом надо бы пообширнее потолковать. Вы здесь все время были и столько народу знаете всякого. Наверно, и с нашей братией прежних связей не разрывали.

– Дела анафемски много. Редко с кем видишься.

– Все-таки... Желалось бы иметь вашу оценку того, что случилось с тех пор, как нас расселили по весям Российской империи. Вы покурили. Не айда ли в "Интернациональный"?

Тут только собеседник студента заметил, что он не курит.

– Вы разве по толстовскому согласию? – спросил он, указывая на окурок папиросы, который тотчас же и бросил на землю.

– Нет, этим не зашибаюсь. А никогда не был курильщиком, как следует; и вот уже больше двух лет и совсем бросил.

– Добродетельно!

Они разом снялись со своих мест и пересекли аллею.

Они сидели за столиком, друг против друга. Оба заказали по одной порции какой-то кавказской еды и бутылку пива.

Непокрытыми – головы их были выразительнее: у Заплата густые и волнистые волосы заходили на лоб; Кантаков остригся под гребенку, и очертания очень круглого черепа выступали отчетливее, с впадинами на висках.

Он опять уже курил, положив оба локтя на стол, и его речь текла быстро, слова как бы догоняли мысль, и мимика лица беспрестанно менялась.

– Досадного много во всем этом, – говорил он довольно громко, – больше моды, чем настоящего убеждения. Знаете, дружище, это все равно, как лет сорок назад, когда стали на Дарвина молиться. Нас с вами тогда еще на свете не было. Но умные старички рассказывают, которых нельзя заподозрить в обскурантстве... И тогда юнцы до бесчувствия повторяли: "человек – червяк".

– Ха, ха! Даже и не обезьяна?

– Нет, такая уж была формула: "человек – червяк"! И никаких других разговоров. Так и теперь. Я не говорю про всех. Не похаю и того, что стали в самую суть вдумываться, доходить до корня в социальных вопросах, не повторяют прежних слащавых фраз... – Насчет чего? – остановил Заплатин, жадно слушавший. – Насчет народа и деревни?

– Перепустили и тут меру. Вы ведь небось читаете? Там, в Питере, произошло некоторое если и не примирение вплотную, то признание того, что и семидесятников нельзя было так травить.

– Я это всегда говорил, Сергей Павлович! И сколько окриков на меня было! Раз чуть не выгнали из одного синедриона. Честное слово!

– Верю. Теперь полегче. И я той веры, что соглашение состоится не сегодня, так завтра. Главное дело: знания нет жизненного, из первых рук. Я кое-кому из самых заядлых говорю при случае: поездили бы вы хоть с мое, потолкались промежду рабочего люда – вы бы и поняли, что на Руси нельзя еще целиком прикладывать аглицкий аршин. Нет еще его, настоящего фабричного пролетариата. Деревня от фабрики уже сильно зависит – это

верно; и она ею питается, но и фабрика без деревни не может работать. Это не идиллия: добиться того, чтобы окрестные крестьяне не разрывали со своим домом, а несли в него все, что останется от конторской дачки.

– Так, так! – поддакивал Заплатин.

Все это было ему сильно по душе.

– Книжки какие хочешь читай – в теории все хорошо. Но оттого, что ты считаешь себя носителем безусловной экономической истины – еще не резон без разуму смущать народ!

Кантаков не договорил; но собеседник его понял тотчас же, на что он намекает.

– Завелись и промежду фабричного люда свои Лассали... из настоящих ткачей и прядильщиков. Только – поверьте мне, дружище, – они сами по себе ничего не могут добиться, если вся масса не проникнется тем, что надо отстаивать свои права. И даже без всяких запевал и зачинщиков толпа в тысячу человек действует стойко, умно, с большим достоинством и тактом. Краснобайством нынче нигде не удивишь. Я уже таких знаю ребят... что твой Гамбетта! Говорит, точно бисер нижет. И тон какой, подъем духа, жест!

– Что вы?! – вырвалось у Заплатила.

– Можете мне верить.

Кантаков сделал передышку и отхлебнул пива.

Много вопросов было у его собеседника "на очереди". Он сам не хотел разбрасываться, но одно его слишком интересовало, и он воспользовался паузой.

– А вообще-то, Сергей Павлович, мало утешительного в нашей "alma mater", и сверху, и снизу?

– Ну уж, друг милый, времена, сами знаете, какие! О том, как читалось и что читалось десять и больше лет назад, – и я-то с товарищами знаем только по преданию. Это – сверху; а снизу – масса... Ничего не могу вам сказать про юнцов-первокурсников... Те, что после вас остались, разумеется, сквозь фильтры прогнаны.

– Прежде были на белой, а теперь, кажется, на темно-голубой подкладке?

– Верно! Ха, ха! И в околышах такая же перемена. Прежде чтобы воротник был самый что ни на есть темно-синий, от черного не отличишь; а теперь – бирюзовый, гвардейского образца.

Оба громко рассмеялись.

– Это уж вы никаким куревом не выкурите. И такие кандидаты в земские начальники и драгунские поручики не переведутся долго. Немало

и всякого другого народа гуляет в студенческой форме... не больно выше сортом этих рейтузников. И просто баклуши бьют, и эстетов из себя представляют, и тарабарские стихи пишут. Но все это, Заплатин, только пена, изгарь, шлак. И даже довольно обидно за молодежь (он произносил: "м/олодежь"), что слишком у нас скоро обобщают. Сейчас – вывод: никуда не годная генерация, нынешние студенты дрянь, – ни идеалов, ни идей, ни знаний, ни хороших чувств. Это вздор!

– Еще бы! – горячо воскликнул Заплатин и встряхнул своими волнистыми волосами.

– Ядро – все такое же.

– Сергей Павлович! Спасибо! Я ждал от вас такого именно вывода. И я понасмотрелся на всякий народ в три-то с лишком года моего студенчества. Но ядро – как вы говорите – должно быть то же. Недаром же отовсюду повысылали на родное-то пепелище. Положим, и тут разный был народ. Однако... покойнее было кончать курс и приобретать права, чем отпраляться в трущобы... Иным – даже и без надежды скоро исправить свое положение.

– Нужды нет, Заплатин! Все эти невольные туристы кое-что да разнесли по всем российским весям, прочистили воздух, представляли собою одну – и не пошлую идею. За ними следом шло повсюду и сочувствие всего, что у нас есть, и в печати, и в обществе, честного и мыслящего.

Глаза собеседников разгорелись. Между ними разница лет была небольшая. Но Кантаков гораздо больше оселся, чувствовал под собою почву, имел уже успех, мог считать свою адвокатскую дорогу расчищенной; а в студенте, несмотря на его очень взрослую наружность, "бродило" – как он сам называл – еще не унялось, и отвечать за то, куда он придет и чем кончит, – он не мог бы, да как будто и не желал.

– Ну, и что ж, Заплатин, – начал Кантаков несколько другим тоном, – весь этот год с хвостиком протянулся там, на родине, весьма туго и однообразно?

– Я все время работал. Что же больше делать, Сергей Павлович? Книги с собой привез, даже лекции захватил. У меня была надежда, что к этому семестру позволят вернуться. Немало и с народом возился, ездил по Волге, жил у раскольников, присматривался ко многому.

– Ну, а уж по части общества, интересных встреч, особенно с женщинами?

Заплатин опустил ресницы – темные и пушистые.

– Или что-нибудь нашлось?

Глазами Кантаков усмехнулся.

– И там ведь не без людей...

– Даже и в женском сословии?

– Что ж... – начал Заплатин, тише звуком и медленнее, – я не скрою от вас... вы такой душевный человек и всегда были со мной по-товарищески, – хоть мы и не однокурсники, Сергей Павлович.

– Да что вы меня как все церемонно величаете, дружище? А мы – товарищи в полном смысле. Не выпить ли по стакану кахетинского? – Извольте! Здесь не дорого? – Нет, уж я ставлю!

Кантаков спросил карту и выбрал вино.

– Так... Значит, не без встреч?

Глаза его опять заиграли.

За ним водилась репутация человека влюбчивого. Среди интеллигентных женщин он всегда имел большой успех.

– Я не скрою, – начал опять теми же словами Заплатин, все еще не поднимая ресниц. – Там я нашел девушку... из ряду вон... дочь врача. Уже второй год, как кончила гимназию с медалью.

– Красива?

– Очень. Отец болезненный... Вообще неудачник. Матери нет. Она стремится сюда, на курсы.

– На новые?

– Да, Сергей Павлович.

– Далось вам мое имя-отчество! Чокнемся и, если не побрезгаете, – выпьем на "ты". Нам давно пора бы.

– Я душевно рад!

Они выпили.

– И вы этой девицей немного увлечены?

– У меня... к ней... серьезное чувство. И даже... я опять не скрою...

– От тебя, – подсказал Кантаков.

– Что мы уже дали слово...

– Не раненько ли?

– Она подождет. Год пройдет незаметно. Может, и больше.

– Что ж! Нынешние девушки умеют ждать... За здоровье твоей нареченной... Ее имя?

– Надежда Петровна.

Они еще раз чокнулись.

– И ты ее ждешь?

– Ее задержали разные разности. Через неделю будет здесь... А если не удастся поступить сразу... она будет ходить на коллективные уроки.

– Совет да любовь! Впору пропеть: "vivant omnes Virgines!" Впрочем, что я... не omnes, а одна. И какое имя для штрафного – Надежда!  
Они опять чокнулись, и звонкий смех Кантакова разнесся по всей зале.

### III

Узким тротуаром, в мгlistый, туманный вечер, пробирался Заплатин по Каретному ряду. Газовые рожки фонарей слепо мигали; но вдали белосизый свет резкой полосой вривался поперек улицы.

Там – театр, для него еще совсем новый. До своего удаления он всего раз попал туда – не до того было.

И вот теперь – когда осмотрелся и вошел в прежнюю колею – потянуло его в театр. В Москве без этого нельзя жить.

Мечтал он пойти в первый раз с Надей. Ведь она никогда в Москве не бывала; но она опять на неделю, а то и на две, отложила приезд. Отец расхворался, и ей нельзя оставить его одного.

А на дворе давно уже октябрь.

С ней он, "первым делом", пошел бы в Малый театр. Только там она не найдет того, что было десять и пятнадцать лет назад. Да ведь и он сам уже не захватил той эпохи.

На этой неделе он колебался – остаться ли ему верным традиции и начать непременно с Малого или пойти в Каретный ряд, в театр с новым "настроением" и в репертуаре, и в игре, и в обстановке.

Каретный ряд пересилил. О билете надо было позаботиться заблаговременно. В студенческой братии этот театр – самый любимый, и почти каждый вечер в кассе аншлаг: "Билеты все проданы".

На первые два месяца у него – после взноса за ученье – финансов хватит, если не позволять себе лишних "роскошей". Но еще раньше он – по примеру прежних лет – раздобудется и работой. Ему не то чтобы чрезвычайно везло по этой части, но совсем без заработка он никогда не оставался и не пренебрегал никаким видом занятий, от корректур и уроков до переводов и составления промышленных и торговых реклам, какие печатаются на больших листах цветной бумаги.

Добыл он себе билет на пьесу, которую читал больше двух лет назад, но не видал здесь. Она в Петербурге потерпела примерное крушение, а здесь вызвала овации в первый же спектакль и с тех пор не сходит с репертуара.

Электрические шары всплыли перед Заплатиным, когда он вошел во



двор и увидал фасад театра. Целая вереница пролетов тянулась справа влево, и пешеходы гуськом шли по обоим тротуарам круглой площадки.

В сенях он очутился точно в шинельных университетах: студенческие пальто чернели сплошной массой, вперемежку со светло-серыми гимназистов, и с кофточками молодых женщин – "интеллигентного вида", определил он про себя. Такая точно публика бывает на лекциях в Историческом музее. Старых лиц, тучных обывательских фигур – очень мало.

Это сразу его настроило как-то особенно.

Из обширного прохода с вешалками, где он оставил пальто и калоши, он не сразу стал подниматься вверх.

Ему хотелось потолкаться в этой публике, настроить себя на один лад с нею, присмотреться к лицам – мужским и женским.

Он уже вперед знал, что та пьеса, которая не захватила его в чтении, должна предстать перед ним в новом освещении. И наверное, вся эта молодежь ожидает того же.

Особенно приятно было отсутствие тех лиц и фигур, с которыми сталкиваешься, нос к носу, везде, во всех зрелищах, той скучающей или глупо гогочущей толпы, которую он, с каждым днем, все меньше и меньше выносил.

Чувствовалось, что публика пришла и приехала сюда не от одной скуки, чтобы как-нибудь скоротать вечер и пройтись сильно по водке в буфете. Она чего-то ждет, чего она никогда в другой зале не получит.

Когда раздался звонок, он почти испугался, как бы не опоздать сесть до подъема занавеса.

И все время он жалел, что нет с ним невесты. Как бы для нее все это было ново! Сколько разговоров поднялось бы между ними, в антрактах и после спектакля, за самоваром, в той комнатке, которую он уже присмотрел ей!

Его охватил почти полный мрак, когда он с трудом отыскивал свое место.

Звук гонга прошел по его нервам. Занавесь из материи – раздвинулась, подхваченная с боков. На сцене та же почти темнота. Он вспомнил, что дело в саду, перед озером, где задняя декорация – только род рамы с натуральным пейзажем и светом настоящей луны.

Он весь ушел в слух и зрение. Различал он с трудом, по некоторой близорукости; а бинокля у него не водилось; но слух у него был на редкость.

Весь первый акт он сильно напрягал внимание. Но он не мог вполне

отдаться тому, что происходило перед сценой и что говорила актриса о том ужасе, когда все живое погибнет и земля будет вращаться в небесных пространствах, как охолодевшая глыба.

Когда он читал пьесу, все это его не то что раздражало, а смущало. Он не мог сразу выяснить себе: в каком свете автор ставит такое зрелище, как он сам относится к попытке молодого декадента поставить эту странную вещь, где влюбленная девушка разделяет судьбу убитой – из прихоти – водяной птицы.

Да и теперь первый акт только вызывал в нем напряженный интерес, но не волновал и не трогал его.

И вдруг один женский возглас, полный слез и едкого сердечного горя, всколыхнул его.

– Кто это? – спросил он соседа, также студента.

– А та, что играет Машу, влюбленную в героя, дочь управляющего.

Со второго акта эта заеденная жизнью девушка, некрасивая, не очень молодая, пьющая водку и нюхающая табак, – выступила вперед. Актриса – он видел ее в первый раз – заставила его забыть, что ведь это она "представляет". Ее тон, мимика, говор, отдельные звуки, взгляды – все хватало за сердце и переносило в тяжелую, нескладную русскую жизнь средних людей. Ее только и было ему жаль, а не ту героиню с порывистой страстью полупсихопатки и к сцене, и к писателю – "эгоисту" с его смакованьем самоанализа и скептическим безволием бабника. Актер нравился ему чрезвычайно, лицо было живое; но все они: и декадент, и мать его – провинциальная "премьерша", и доктор, и его любовница, и дядя – судейский чиновник – все, все жили перед ним. И общее впечатление беспощадной правды держалось неизменно при чередовании сцены, где так искренно и чутко было передано "настроение".

Но душа его просила все-таки чего-то иного! После бурной сцены между матерью и сыном им овладело еще большее недомогание. Хотелось вырваться из этого нестерпимо-правдивого воспроизведения жизни, где точно нет места ничему простому, светлому, никакому подъему духа, никакой неразбитой надежде. Насмотрелся он довольно у себя дома на прозябание уездного городишки, где людям посвежее и почестнее до сих пор приходится жутко; но там в каждом, кто, как он, попал туда временно или собирается промаячить всю жизнь, – все-таки тлеет хоть маленькая искорка! Если тебе скверно здесь, то там, где-то, люди живут по-человечески.

"И это еще не все, – возбужденно говорил он, спускаясь вниз в фойе после третьего акта. – И это еще не все!"

Ему лично, Ивану Заплатину, экс-штрафному студенту – не хотелось поддаваться "настроению" такой вот пьесы.

Она слишком обобщает беспомощную бестолочь и жалкое трепанье всего, что могло бы думать, чувствовать, действовать, любить, ненавидеть не как неврастеники и тоскующие "ничевушки", а как люди, "делающие жизнь".

Ведь она делается же кругом, худо ли, хорошо ли – с потерями и тратами, с пороками и страстями. И народ, и разночинцы, и купцы, и чиновники, и интеллигенты – все захвачены огромной машиной государственной и социальной жизни. Все в ней перемелется, шелуха отлетит; а хорошая мука пойдет на питательный хлеб.

Погибни все они, эти нытики, поставленные автором в рамки своих картинок, – и он, Иван Заплатин, ни о ком не пожалеет, кроме вот той деревенской "девули", пьющей водку; да и то, вероятно, оттого, что актриса так чудесно создала это – по-актерски выражаясь, – "невыигрышное" лицо.

"Сгиньте вы все! – повторял он, все в том же возбуждении. – Я о вас плакать не стану".

Художественное наслаждение он получил. Талант автора выступил перед ним ярче, ни одна крошечная подробность не забыта, если она помогает правде и яркости впечатления. Но зритель, если он жаждет бодрящих настроений, – подавлен, хотя и восхищен. Он это испытывал в полной мере.

А кругом все гудели разговоры. Все возбуждены. Но неужели никто в этой молодежи не испытал того, через что он прошел сейчас?

Чем объяснить такой успех, такое увлечение? Неужели молодые души жаждут картин, от которых веет распадом сил и всеобщим банкротством?

Он не мог и не хотел с этим согласиться.

Привлекали творчество, талант автора и небывалая чуткость сценического воспроизведения. Жизнь – какова бы она ни была – всегда ценна и дорога, если художник-писатель, художник-актер и художник-руководитель сцены – одинаково преданы культуре неумолимой правды.

Заплатин ходил по фойе и глазами искал в толпе знакомое лицо, чтобы высказать сейчас все, вызвать обмен взглядов, поспорить, а главное – узнать, найдет ли он в ком-нибудь отклик на свое собственное "настроение"? Он не хотел бы быть одиноким. То, чего всегда жаждет его душа, – должно быть не в единицах только, а в сотнях, если не в тысячах его сверстников.

И вдруг его, сбоку и почти сзади, кто-то окликнул, просто по фамилии. Он быстро обернулся.

Ему протягивал руку небольшого роста блондин, с кудельно-пепельными подстриженными волосами, видом купчик или конторист, в очень длинном черном сюртуке и светлых панталонах.

Черты лица мелкие, бородка, особого рода усмешка красивых губ.

– Щелоков? – вопросительно вскричал Заплатин и взял того и за другую руку.

Он был на целую голову выше его.

– А ваше степенство давно ли на Москву прибежали? Ась? Много довольны вас видеть.

– И я так же. Все собирался тебя проведать. Да не удосужился... забежать в адресный стол.

– Зачем? В городе тебе всякий бы сказал.

– Ты все там же?

– До третьего часа... бессменно в Юшковом.

– Чаю хочешь выпить... коли найдем место?

– Согласен.

Место им удалось захватить; они примостились к столику и спросили два стакана чаю.

– Значит, с водворением можно поздравить вашу милость?

Щелоков остался все с тем же умышленным говором московских рядов. Он привык к этому виду дурачества и с товарищами. С Заплатиным он был однокурсник, на том же факультете. Но в конце второго курса Щелоков – сын довольно богатого оптового торговца ситцем – "убоялся бездны", – как он говорил, а больше потому вышел из студентов, что отец его стал хронически хворать и надо было кому-нибудь вести дело.

Аудитории оставлял он без особого сожаления.

– Можно и дома книжки читать, – говорил он тогда, – а государственных привилегий нам не надо.

Так и остался "потомственным почетным гражданином" и по первой гильдии купеческим сыном".

Заплатин мог говорить только о пьесе.

– Как ты скажешь об этой пьесе, Авив?

Щелокова звали старообрядческим именем Авив.

– А! Не забыл! – усмехнулся он, отхлебывая из стакана. – Что скажу? Кисленьким отдает!..

– Кисленьким?

Заплатин тихо рассмеялся...

– Печенки большие... И вообще клиникой отшибает.

– Пожалуй!

"Столовер" – так звали Щелокова однокурсники – хватил, быть может, сильненько, но суть оценки была почти такая же, как и у него самого.

– Право, сударик мой, – продолжал Щелоков, потрянув – совсем покупчески – своими кудельными волосами, – господа сочинители все в своем нутре ковыряют. Хоть бы вот этот беллетрист, что в пьесе. Так от него и разит литературничаньем. И так, и этак себя потрошит, а внутри пакостная нотка вздрагивает: хвалить – то меня хвалят, но... – он выговорил это интонацией актера, игравшего роль беллетриста, – я не Тургенев, но и не Толстой! А мне-то, Авиву Щелокову, какое до этого дело? Так точно и прочие другие персоны этого действия...

– На которое тебе, как человеку древнего благочестия, и ходить-то зазорно?

– Мне ничто не зазорно, милый. Но дай досказать... Взять хоть бы этого декадента или девицу... Могу ли я сокрушаться о них, жалеть их?

– В одно слово! – вырвалось у Заплатина.

– А тем паче увлекаться. Что они представляют собою? Личную блажь. И я должен уходить в нее душой, когда вокруг, в российском якобы культурном обществе, первейшие потребности этой самой души попираются?!

"Вон оно что! Авив поумнел! – подумал Заплатин. Даром что в оптовом складе ситцем торгует!"

Щелоков был "столовер" убежденный. По родителям он принадлежал к "федосеевцам", и отец звал его мать до самой смерти "посестрием", не "приемля" брака как таинства.

Но он уже гимназистом стал сам себе "сочинять веру", а студентом – когда Заплатин сошелся с ним – любил говорить на тему "свободы совести". На бесцеремонные вопросы товарищей, какой он веры, он отвечал или: "я хлыст", или: "я перекувылданец" и тому, кто расхохочется, совсем серьезно объяснял, что такое "согласие" водилось еще не так давно в Заволжье, повыше Нижнего, а может – и теперь водится.

– Еще бы! – согласился Заплатин. – Да и мало того...

Он хотел развить свою идею; но раздался звонок.

– Ах, досада какая!.. Надо идти.

– А опоздать нешто нельзя? Для меня и теперь ясно, что никакого разрешения стоящего... и быть не может.

– Однако... скажи-ка, – спросил Заплатин, вставая, – чем кончит декадент? Отгадай, если ты не читал пьесы или отчета.

– Чем? Да как-нибудь нелепо... покончит с собой? Ась? Я плакать не стану.

– Отгадал!

Они расплатились и пошли в залу. Щелоков сидел в креслах.

Но он попридержал приятеля на площадке.

– Не хочешь ли после театра в заведение, закусить... малую толику?

От таких "угощений" Заплатин сторонился всегда, особенно от богатых купчиков. Но Щелоков – хороший парень и шампанским "пугать" не будет.

– В "Альпийскую Розу"... пожалуй. Там цены демократические.

– Ну, что еще за глупости!

– Нет, Авив, каждый за себя.

– Ну, ладно. Так в сенях рандеву... А то как же так: столько времени не видались?!

Щелоков сильно потряс его руку и пошел в кресла.

Так и остался Заплатин с желанием развить свою идею. Он разовьет ее в "Альпийской Розе". Да и сам Авив всегда его интересовал.

Таких – в его среде – вряд ли много гуляет по Руси. Сочинил он себе "свою веру" или нет, но он не изувер, и его "столоверство" и тогда – два-три года назад – было очень широкое.

И нота о "свободе совести", зазвучавшая в нем так внезапно и так кстати – для того, кто сразу его понял, – показывала, что он ушел вперед, даром что торгует ситцем в Юшковом переулке.

Опять в полной мгле пришлось Заплатину пробираться до своего дешевого места на верхах.

Протяжный, унылый звук гонга раздался, как раз когда он поднялся наверх.

Он помнил содержание последнего акта. Но не фабула тянула его к себе; а то, как будет передано настроение последней картины той жизни, которая, на оценку Щелокова, "отдает кисленьким" и "отшибает клиником".

Все притихло. Ткань занавеса раздвоилась на две половины.

#### IV

В «город» Заплатин еще не попадал, с тех пор как водворился в Москве.

Ему всегда нравилась Красная площадь, с новыми Верхними рядами, особенно ночью, в электрическом свете.

Красивый пошиб этих чертогов мирил его с сутью рядской жизни.

Но сегодня он был менее строг в своих чувствах ко всему, что

отзывается "купецкой" Москвой.

Встреча с Щелоковым и долгая полуночная беседа в "Альпийской Розе", где он настоял на том, чтобы заплатить отдельно за свою порцию холодной солонины, – в связи с тем, что он идет к Авиву, в его оптовый склад в Юшковом переулке, – настраивали его мысли в такую сторону, куда обыкновенно он их не пускал.

Перед ним стал вопрос: не слишком ли он кичится званием студента, тем, что сопричислен к "лику интеллигентов", как за ужином в "Альпийской Розе" выразился Авив на своем рядском жаргоне.

Взять того же Авива. Разве он что-нибудь потерял, что "убоялся бездны" и вышел с третьего курса? Он мог бы оставаться и в студентах, повременить с государственным экзаменом и все-таки взять ученое звание.

Не счел сам нужным. Он очень начитан. По своей вероисповедной части – настоящий "начетчик"; греческого не забыл, и Новый Завет читает каждый день в оригинале. Апокалипсис знает чуть не наизусть. И философские книжки любит читать и по-русски, и на двух иностранных языках.

Ну, кончил бы он? Какая разница? Только тщеславие свое потешить?

Все равно – он на службу бы не пошел. На казенную службу сектантов не принимают.

Авив еще на втором курсе, бывало, в аудиториях развивал идею, что главная порча нашей интеллигенции – дипломы и права по службе, что не нужно их вовсе. Тогда будет свободная наука, как свободна должна быть церковь, отделенная от государственной власти.

Он логичен, как во всем, что говорит и делает.

И остался купцом. И не стыдится этого.

Рядом с ним он, Иван Заплатин – сын купца третьей гильдии, – выходит не то что межеумком, а чем-то вроде "выскочки". К "купчишкам" он и про себя, а иногда и вслух привык относиться пренебрежительно. Точно он сам – столбовой. Все оттого, что мать его – дочь незначущего чиновника и высидел он восемь лет на партах гимназии, зубрил сильно аористы и сдавал "экстемпоралии", а потом надел студенческую форму и сопричислил себя к "лику интеллигентов".

Авив гораздо дельнее. Он и по смерти отца не прикончит своего дела, будет торговать ситцем, сидеть в амбаре, ездить к Макарию, на ярмарку, и якшаться с "азиатами".

Он держится за свою "особность" и как купец, и как старообрядец. И в самом деле, возьми он "права", поступи он на службу – он должен первым делом поступиться своим "согласием" и перейти, по малой мере, в

единоверие; а второе – очутиться в "дворянящихся" купцах, проходить табель о рангах, мечтать о генеральском чине и ленте через плечо.

Его не сбили с позиции, и он не хочет никакого другого положения.

Всему корень – экономический быт; в этом марксисты архиправы. А у него – Ивана Заплатила, сына хоть и плохенького, но все-таки фабриканта, – нет этого корня, да вряд ли и будет.

И теперь он, чтобы "домаячить" в студентах до государственного экзамена – все-таки сидит на шее у матери. Без ее поддержки ему не на что было бы приехать сюда, внести полугодовую плату, заплатить за квартиру и иметь обед до тех пор, пока не найдет какую-нибудь работишку.

Авив – как человек жизни – сейчас же и допросил его по-товарищески – имеется ли заработок и что представляется ему в ближайшем будущем?

И на это у него здоровый взгляд, который может показаться ретроградным только тем, кто не хочет вникнуть в дело.

– Не резон в годы учения – биться из-за пропитания! – говорит он. – Надо даром учить и содержать всех способных – самому государству или обществу – как придется. Кто имеет право на поступление – того и учи даром. А теперь науку заедает нужда и плодит интеллигентное нищенство!

Как он это понимает – с ним нечего спорить.

На его вопрос о работе или о видах на нее надо было сознаться, что ничего еще нет. Ресурс один: печататься в газетах, а клянчить в кружке земляков совестно. Есть и беднее его. Он все-таки сын домовладелицы и мог без помехи внести полугодовую плату.

Щелоков – душевный малый.

– Надо тебя пристроить, – повторял он тогда в "Альпийской Розе", – что-нибудь такое найти на всю зиму и чтобы даже осталось к тому времени, когда начнется зубристика к государственному экзамену. – И тут он что-то такое сообразил и спросил его:

– Ты ведь моему сродственнику – Элиодору Пятову – однокурсником приходишься?

– Как же!

– Мне сейчас одно соображеньице пришло. Вот зайдешь ко мне... так денька через четыре... туда, в амбар... в Юшков переулок. Я кое-что нащупаю.

На этом они и простились.

Тот Элиодор Пятов – "сродственник" Щелокова – приходился действительно однокурсником им обоим. Одно время он даже очень льнул к тому кружку, где Заплатин был вроде как "запевалой". Они собирались, читали рефераты, происходили горячие прения.



И этот Элиодор тоже реферировал.

Он миллионщик, – кажется, теперь глава фирмы, и некоторые из их кружка возлагали на него особенные надежды, думали, что он со временем выкажет себя как настоящий друг "четвертого сословия".

Заплатину он стал давно уже "сумнителен". Малый неглупый, способный, книжек и тогда много прочел, и языки знал, и сильно охоч был до всяких идей и веяний – вплоть до символизма и декадентства; но был в нем какой-то "передел".

В бурные дни, когда овец отделяли от козлищ, – он очутился в овцах и беспрепятственно кончил курс.

Мечтал он, кажется, и о кафедре; но теперь, сделавшись главой капитальнейшей фирмы, – вряд ли пойдет по ученой дороге.

Когда он льнул к их кружку – ему ужасно хотелось сойтись с Заплатиным на "ты". Может быть, они и пили брудершафт. Но при встрече вряд ли он теперь будет с ним на "ты".

Щелоков всегда над ним подсмеивался и прохаживался частенько над тем, что его родители, "страха ради иудейска", перешли из раскола в единоверие, а потом и совсем стали "государственниками", как он называл последователей господствующей церкви.

Элиодор выдавал себя за "свободного мыслителя", чему Авив тоже не совсем-то верил.

Пробираясь по тесному тротуару переулка к складу Щелокова, Заплатин представлял себе, каким должен быть теперь этот Элиодор, с тех пор как снял студенческую форму.

Засел теперь в кресле отца – в кабинете своей конторы, тут же в "городе". И студентом он смотрел уже "их степенство", по дородству и пухлости лица и особенной усмешке в карих глазах, где искрилось и "себе на уме", и постоянное желание выказать себя самым фасонистым европейцем.

Однако и такой Элиодор остался при деле, глава фирмы, туз и воротила по своей части, хотя и считает себя – и весьма – сопричисленным к "лику интеллигентов"...

По левую сторону переулка теснились склады и конторы. Заплатин читал вывески, ища имени Щелокова.

Вот оно. Фирма значится до сих пор: "Авдей Щелоков с сыном и братом". И дядя и отец Авива – уже покойники.

До сих пор та же дверь с половиком; зеленая, побуревшая краска, узкие два окна, где положены для "вида" куски ситцев, но совсем не для привлечения покупателей, как в зеркальных витринах Кузнецкого. Так

полагалось спокон веку для "городового покупателя".

Авива он нашел в задней комнатке склада – темноватой и тесной, с одной конторкой и диваном, обитым волосяной материей. Этому дивану, наверное, больше полвека от роду.

В складе два приказчика и один всего прилавок; а полки – простые, как в первой попавшейся лавке с "панским" или "суровским" товаром.

– Гряди, чадо! – встретил его Щелоков, вставая с табурета. – Присядь. Чайку желаешь? Или пойдем в трактир?

– И так все по трактирам хорожусь, – ответил Заплатин, пожимая руку своеобразного приятеля.

– Спасенному рай! Садись! Ты в самый такт пожаловал. Кажется, дело выгорит.

– Насчет Элиодора? – спросил Заплатин с усмешкой.

– А тебе это не особенно по вкусу? Понимаю. Он лодырь... это точно. Особенно в теперешнем своем виде или "аватаре". Они любят это самое буддийское слово. Ха, ха! Ведь ты небось помнишь его... Модник! Знаешь, вот как пшюты нынешние воротники стали носить и манжеты, ровно хомут на себе засупонивают, так и наш Элиодоша. Чтобы ему "последний крик" по идейной части был на дом доставлен.

– Последний крик? – повторил Заплатин.

– А то как же? Это так на бульварах называется. Мы ведь тоже почитываем. Даже и непотребные парижские листки. А ты как бы думал, ха, ха!

– Что же, собственно, Авив?

– А вот что... Дай по порядку. Элиодор тятенькину фирму теперь полностью представляет. Собственно маменьке оставлено все в пожизненное владение; но она ему – полную доверенность и удалилась на покой... даже и в Москве не обретается... а где-то, никак около Хотькова монастыря. Он к делу себя никогда не припуцал и даже пофыркивал на обрабатывающую промышленность, как на дело низменное, хотя и необходимое, – однако бразды правления сейчас же взял в свои руки и, как ребята сказывают, довольно-таки дошлым себя аттестует. Папенькин капитал не спустит, особенно на дела общественные, альтруистические. Нет! Да ведь нам с тобой и не нужно его подачек.

– Чем же он может быть пригоден?

– Повремени чуточку... Помимо того, что мне хотелось бы тебе поспособствовать... хорошо, чтобы около него был такой вот парень, как ты, Заплатин. Все-таки можно его, при случае, направить. Элиодор амбициозен; надо только умеючи подействовать на его амбицию.

– Шут с ним!

– Ты стой! Без всякого лебезенья... Ты всегда сумеешь его осадить. А сколько можно поддержать? Не так скоро опошлеет и окостенеет от своих миллионов. Он вот и со мной начал заигрывать. Только бы я его не считал защитником нетерпимости... Как мы с ним свидимся – он мне сейчас: "Я сторонник абсолютно свободной церкви". И вот на днях, когда я завернул к нему насчет тебя, он говорит: "Будь я на твоём месте, Авив, я бы собственное своё согласие сочинил и занял место вероучителя". Вот он каков! Однако соловья баснями не кормят. Выходит так, что тебе, весьма и весьма, найдется работа, и притом продолжительная... сколько влезет. Подробности он тебе объявит.

– У самого Элиодора? По какой же части?

– По самой что ни на есть умственной. Он задумал нечто в громадных размерах. И предлагает по-видимому, с удовольствием – быть его сотрудником... за приличный гонорар. Я на это первым же делом поналег. Не знаю, очень ли он тороват; но объегоривать однокурсника мы ему не позволим.

– Ладно. Когда же с ним повидаться?

– Айда сейчас же! Он теперь, наверное, в конторе.

Они доехали на извозчике до того корпуса, где помещалась обширная контора фирмы: "Кузьмы Пятова вдова с сыном".

Элиодора они нашли в кабинете, отделанном в стиле, который указывал на его новые художественные вкусы, – с выписными обоями вроде фрески и стильной мебелью из зеленоватого дерева с обивкой материей "libertu".

Он сидел за большим бюро, лицом к двери, и читал газету, когда они вошли.

– А! Заплатил! Сколько зим! Поздравляю с приездом.

Но сейчас же в тоне слышалось то, что он не будет с однокурсником на "ты".

Заплатину так было удобнее, по крайней мере, не будет обязательных товарищеских отношений.

– Вот нас целая троица собралась, – сказал Щелоков, – все три – однокурсники.

– Как же, как же! – немного точно стесненный, заторопился Пятов.

Вид у него был точь-в-точь как воображал Заплатин, идя к Щелокову по Юшкову переулку. Он еще поприпух в лице, брился начисто по английской моде, с заметным брюшком, одетый в заграничный съют при темно-красном галстуке. Рыжеватые волосы на голове с приподнятым

"коком" были плотно острижены. Тревожные карие глаза искрились из-за стекол рince-pez. Толстоватые губы раскрывались часто в усмешку, в которой было больше самодовольства, чем дружеского приветия.

Заплатин рассудил, без всяких прелиминарий, приступить к мотиву своего визита. Он желал этим показать и то, что Элиодор "an und fur sich" не интересовал его настолько, чтобы отыскивать его и вообще искать его приятельства.

– Щелоков передавал мне, – начал он, – что у вас, Пятов, – он нарочно назвал только по фамилии, по студенчески, – найдется подходящая работа. Что ж это, собственно?

И тон он взял суховатый, давая этим понять Элиодору, что знает ему настоящую цену.

Совершенно верно, – отозвался Пятов и начал играть шнурком рince-pez. – Совершенно верно.

– Это... какая-нибудь научно-литературная работа?

– Да. Ни больше ни меньше как ряд этюдов по эстетическим теориям. Вещь будет обширная. Работы на целых три-четыре года. Теперь на очереди Адам Смит.

– Экономист? – остановил Щелоков.

– Он самый! Но ему принадлежит и целая эстетическая теория... В свое время он был весьма авторитетен. Только я не знаю... вы знаете по-английски, Заплатин?

– Знать так, чтобы ахти Боже мой, – не могу похвалиться. Я начал на втором курсе по самоучителю. Читать могу... довольно свободно... особенно прозу, научную и беллетристику.

– Кроме самого текста, – продолжал Пятов, покачиваясь на кресле, – надо будет просмотреть целую литературу... и на других двух языках. По-французски и по-немецки вы читаете... я знаю. И делать выписки и справки по моим указаниям. Вот, в общих чертах, что бы я желал иметь.

– Штука для тебя выполнимая? – подсказал Щелоков, взглянув на Заплатина.

– Я думаю. Ничего особенно мудреного тут нет, – выговорил неторопливо Заплатин.

– Вот и столкуйтесь, братцы! А мне пора и восвояси.

Щелоков встал и начал с ними прощаться.

Уходя, он крикнул Заплатину:

– Заверни на минутку. Тебе по дороге.

– Больших переговоров, надеюсь, не надо будет, – начал Пятов, когда они остались вдвоем.

"А все-таки ты поприжмешь меня", – подумал Заплатин, дожидаясь, какую плату заявит его будущий в некотором роде – "патрон".

## V

От Нади Сеницыной пришло вчера заказное письмо.

Она выезжает непременно в начале будущей недели. Значит, надо оповестить хозяйку той "меблировки", где он нашел ей комнату, на Никитской.

Сначала они мечтали поселиться в одном доме, там, на Патриарших прудах, куда он въехал. Там он жил и раньше. Но номера оказались слишком запущенными. Он сам не выжил больше одного месяца.

Потом он стал соображать, что так было бы неудобно.

Наде – если она сразу поступит на курсы – надо будет подчиняться известным правилам. В студенческих номерах, во всяком случае, ей оставаться нельзя. Она еще там, у себя, говорила, что, быть может, попадет к дальним родственникам ее матери где-то на Плющихе или в одном из переулков Остоженки; но что она сначала хочет "осмотреться". Может, эти родственники окажутся и совсем "неподходящими".

Сам он переехал на Воздвиженку, где жил целых полгода на третьем курсе; а ей подсмотрел поблизости, на Никитской, комнату со столом у старушки, у которой живут только молодые девушки – почти исключительно консерваторки или слушательницы "Филармонии".

Его меблировка, где когда-то жилось так весело и дружно, тоже изменилась. Хозяин тот же, но заведует номерами какой-то инородец, по всем приметам пройдоха, а не прежняя управительница Марья Васильевна – старая девушка дворянского рода, некрасивая, больная и совершенно непрактичная, но добрейшей души, точно родная мать или старшая сестра для студенческой братии.

У нее в комнате бывали бессменно заседания "клуба". Иные так днями просиживали до поздних часов ночи, ели, пили, жестоко курили, пели, возились с Марьей Васильевной, проделывали над ней разные дурачества.

И очень затягивали свою квартирную плату, особенно те, кто там же и "столовался".

Номера теперь почище; внизу мальчик, исполняющий должность швейцара – не в таком развращенном виде, и Петрушкин запах не так ударяет в нос; есть даже подобие ковра на лестнице.

И цены – процентов на десять выше.

Но прежняя жизнь канула. Студенческая братия водится, но Заплатин никого не знает. Все больше юнцы, из вновь поступивших, в форме с иголки.

С каждым днем он чувствует себя, точно он постарел не на полтора года, а на целых десять.

Аудитория в одну неделю приелась ему.

Это грозило стать неизменным настроением.

Даже больше чем приелась. Ему было не по себе, почти жутко. Кругом все совсем незнакомые лица. Он кончит с теми, кто при нем дослушивал на втором курсе. Пять-шесть человек знакомых, так, шапочно... Особого интереса и сочувствия ему, как "пострадавшему", от этих, знавших его хоть по фамилии, он не замечает.

А какой дух у массы он до сих пор распознать еще не может.

Из однокурсников очень немногие вернулись, а то так уж кончили, кто был меньше "на виду", чем он.

Раза два он был скорее предметом любопытства.

Среди ровесников все еще потеплее; но молодые преобладают.

Некоторые значительно "поумнели", другие – как выразился Кантаков – "зашибают" экономическими идеями; а к чисто студенческим интересам стали как-то по-другому относиться.

Не воображал он, что в каких-нибудь две недели по возвращении своем в Москву будет так одиноко себя чувствовать.

Не самолюбие, не суетность говорили в нем, не желание играть роль жоака, рисоваться своим прошлым – ничего такого он в себе не сознавал. Но он не знал, как ему поближе сойтись и с юнцами, и с теми, кто очутился теперь в его однокурсниках.

Самому отрекомендовываться или лезть на первый план – он не желал. Надо, чтобы это само собою сделалось.

Может быть, вдруг и наладится; а пока не то, совсем не то.

А ходить на лекции надо. Все те же педеля и "субы" и отметки посещений. Манкировать помногу – могут выйти и придирки перед допущением к экзаменам.

И вот сегодня, когда он должен пропустить целых две лекции, Заплатин как-то особенно расхандрился, спрашивая себя: неужели он только и добивается что того звания, которое ему даст государственный экзамен?

Главное – то, что ему дозволен был возврат в Москву, что он может работать, что здесь под рукой все средства, есть к кому обратиться, у кого попросить совета.

Чего же ему еще? Работу он нашел, и довольно даже приятную, со второго же месяца; теперь здесь будет сам себя кормить. Любимая девушка приезжает на днях, с ней он будет проводить все свои досуги.

А он расхандрился!

Сегодня он пропустит две лекции потому, что Элиодор Пятов просил быть у него, в его наследственных палатах, после одиннадцати часов, и остаться завтракать, причем он получит более обстоятельные инструкции о характере работы, которая была ему предложена.

О гонораре речь уже шла там, в кабинете конторы.

Элиодор оказался довольно щедрым. Сам предложил по пятидесяти рублей за печатный лист компилятивной работы, с преобладанием цитат и с платою по рукописи, по приблизительному расчету.

Больше не платят и в хороших журналах.

И Авив остался доволен, когда Заплатин, зайдя к нему, сообщил об этом.

– Только ты все-таки охулки на руку не клади! Поаккуратнее усчитывай рукопись. И обратись к какому-нибудь фактору типографии. Там они насчет этого учета – дошлый народ.

Не очень ему нравилось то, что Пятов сразу начал приглашать его к себе на "кормежку". Ему бы хотелось установить чисто деловые отношения. Но пока что Элиодор держал себя прилично, не обижался тем, что Заплатин называл его просто по фамилии. Он тоже звал его "Заплатин", без имени и отчества; но еще без оттенка хозяина, говорящего со своим "служащим".

Работа могла легко дать до ста рублей в месяц. И куда же она лучше беготни по урокам; но ему все-таки было как-то не по себе...

Хоромы Элиодора Пятова стояли на Садовой, подальше Ильи Пророка, на высоком месте, с обширным садом. С улицы белелся только бельведер.

Отец его сам их выстроил, и тогдашний модный и дорогой архитектор предложил ему фасад во вкусе итальянского Возрождения. Ему это было "все едино", только чтобы чувствовали – какой владелец дома значительный человек.

Он жил в нижнем этаже, по-старинному, а верх так и оставил парадным, для особых случаев.

Элиодор, когда начал жить один в этом доме, нижний этаж приказал закрыть, временно, отделав только несколько комнат для себя, своей библиотеки и коллекций, пока не будет готова отделка огромного "hall", где он поместит и громадный шкаф, и витрины, и разные objts d'art.

Для этого "hall" понадобилось проломить стену из зала в гостиную. Пока его приемные покои состояли из кабинета, салона, курительной и обширной столовой.

Всем попадавшим к нему он неизменно говорил, указывая на отделку:  
– Вот это пойдет насмарку. Это слишком тяжело и старофасонно!

А мебель была – какая считалась самой новофасонной лет тридцать пять назад, в разгар стиля Второй империи.

Заплатин в первый раз попадал в хоромы Пятова. Чтобы не опоздать, он взял извозчика и входил в сени с ливрейным швейцаром в половине двенадцатого.

– Как прикажете о вас доложить Элиодору Кузьмичу? – внушительно спросил его швейцар.

– Элиодор Кузьмич ждет меня.

– Все равно, позвольте вашу фамилию.

– Студент Заплатин.

Швейцар попросил его подождать и побежал наверх. Это Заплатину не очень-то понравилось. Он снял пальто и калоши и стал подниматься по мраморной лестнице, освещенной сверху.

С какой стати такие порядки? Ведь Элиодор сам назначил ему время, прося остаться и позавтракать, а не пускает к себе без доклада.

– Просят! – крикнул ему швейцар с верхней площадки.

Элиодора он нашел во "временном" кабинете, который он переделал тоже "временно" из парадной спальни родителей, где они никогда не спали.

– Не пуцал меня ваш швейцар, Пятов! – сказал Заплатин, подавая руку хозяину.

Пятов сидел, поджав одну ногу на диване, и курил – в светлой полосками фланели, с галстуком в виде бабочки, без подпорки воротничком его бритых, пухлых щек.

– Извините, Заплатин. Нельзя без этого. А то всякий народ повадится. Ему дан раз навсегда приказ. Курить хотите?

– Я не курильщик.

– Вот как! Ну, голубчик, мы сейчас приступим к делу. Времени не особенно много до завтрака. Будет мой товарищ – Ледоцагин... из уезда.

– Такого у нас что-то не было? – остановил Заплатин.

Пятов лицеистом поступил и на университетские курсы; но со второго курса перешел в простые студенты. Тогда он был самого "независимого" направления и льнул к жоакам разных землячеств.

– Вот оно что!..

Заплатин всегда помнил, что Элиодор воспитывался в "ликее" – что,



под конец, и сказалось в третьем году, во время больших волнений.

– Он пошел в военную. И уже в отставке. Ему обещано место начальника.

– Какого?

– Земского начальника.

– Вот оно что! – с той же неопределенной интонацией выговорил Заплатин, присаживаясь сбоку к дивану.

– Вы, пожалуйста, Заплатин, не брюскируйте его... по первому абцугу.

– С какой стати?

– У него свои взгляды. Он верен некоторым традициям. Мы с ним однокашники.

– И разлюбезное дело! Мне с ним не детей крестить.

– Разумеется. Так вот, – Элиодор грузно снялся с дивана, – здесь... – он подошел к столу, покрытому книгами и брошюрами, – здесь собрана литература по Адаму Смиуту, – он произносил с английским "th", как творцу эстетической теории... Работы довольно.

– Да, порядочно.

– Но не чрезвычайно. И я вас, голубчик, особенно торопить не буду. Главное – искусство научной концентрации.

И он начал, немножко мямля, разъяснять, как следует делать "вытяжки", что можно и чего нельзя передавать своими словами.

Заплатин кивал головой, а про себя несколько раз сказал:

"Да что ты мне все это размазываешь? И без тебя понимаю".

Потом Пятов стал ему таким же тоном намечать ход работы, взял с письменного бюро листок бумаги, где программы были кратко намечены, и, подавая ему, после того как прочел вслух, прибавил:

– Это будет вашим компасом.

– Ладно! – ответил Заплатин.

Он нарочно держался такого тона с Элиодором, чувствуя, что если спустить его на одну зарубку, то Пятов из бывшего однокурсника сейчас же очутится в хозяевах и принципалах.

Уже и теперь он довольно-таки ломается и важничает.

"Однокашник" по лицу явился к двенадцати.

Это был худой блондин с торчащими вверх усами и чрезвычайно напряженным выражением лица – точно он сейчас собирается крикнуть во все горло: "Смирно! Равняйся!"

Пятов назвал ему Заплатила, прибавив, что они были товарищи по курсу; тот вытянул губу и, ничего не сказав, пожал его руку.

Завтрак был сервирован ровно в полдень.

Служили два человека во фраках.

С такой сервировкой Заплатин еще никогда не едал. Какие-то длинные, крючковатые шпильки привели его даже в смущение, и Пятов объяснил ему:

– Это особые вилки для раков. Будут раки *bordelaise*. Не знаю, как вы, господа, а я их обожаю! И теперь настоящий сезон для привоза невских раков.

Кандидат в "начальники" жевал усиленно, и когда проглатывал разные закуски, и когда принялся за первое блюдо завтрака. Он сначала помалчивал; но на вопрос Пятова: скоро ли он будет "шерифом" – заговорил короткими фразами, баском, и при этом поводил бровями, беспрестанно поднимая их и наморщивая лоб.

Заплатин долго слушал, наклонив голову над тарелкой, по своей всегдашней привычке.

"Шериф" – что-то такое начал "несуразное" – как он назвал про себя.

– Губернатор у вас... с душком? – спросил Пятов. – Кажется, им не особенно довольны?..

– Кто? – перебил гость. – Либералишки? Так они добьются того, что нашу губернию раскассируют.

– То есть... позвольте узнать... как это раскассируют? – спросил Заплатин, поднимая голову. – Ведь это только о полках и эскадронах так говорится?

– Да-с... Совершенно как с полком, который хотят примерно наказать!

– В каком же это будет виде? Хозяин стал приходить в тревожное состояние и ерзать на стуле своим пухлым туловищем.

– Очень просто. Чтобы звания не было этой губернии. Два уезда отойдут сюда или три. А остальное раздадут соседним губерниям, благо мы соседи целых пяти губерний.

– И вы такой мере сочувствовали бы? – осторожно выговорил Заплатин и поглядел попристальнее на "шерифа".

– И весьма, если нельзя иначе пресечь крамолу.

– Да... в этом смысле?..

– Ну, этого, положим, не будет! – успокоительно вмешался хозяин, и его карие глазки искали глаз Заплатина, чтобы остановить его вовремя.

Ему в высшей степени был бы неприятен всякий резкий принципиальный спор.

– И то сказать, много чести, – продолжал отрывисто гость. – Небось... Они храбры только на то, чтобы кукиш казать в кармане.

– Вы это про ваших однословников – дворян – говорите? – спросил

Заплатин, поглядев опять на кандидата в "начальники".

– Я не считаю тех... однословниками, как вы изволили выразиться, – кто изменяет своему сословию и желает полного разложения и высшего класса, и крестьянства, и всего... чем держится русская держава.

– Да... вот в каком смысле! – с тихой усмешечкой выговорил Заплатин.

В эту минуту подали серебряную миску – раки *bordelaise*, – и Элиодор стал его учить, как обращаться с крючковатыми вилками.

Спора не вышло. Заплатин рассудил, что будет "довольно глупо" препираться с таким питомцем "ликеея"; а в какой степени сам Элиодор сочувствует таким взглядам – это его мало интересовало.

На этом завтраке он нашел настоящую позицию. Пятов для него – давалец работы, и только; а чтобы он не забывался, надо с ним держаться студенческого тона во что бы то ни стало.

## VI

Надя Синицына встала гораздо позднее, чем вставала у себя, дома, и все время, как училась в гимназии, в губернском городе.

Било девять. А в десять хотел зайти Ваня.

Она, еще полуодетая, подошла к узкому, тускловатому зеркалу, висевшему над умывальником.

Лицо, с дороги и от вчерашнего позднего сидения в ресторане, после спектакля – не очень-то свежее.

А белизной кожи она славилась во всей гимназии. Тип у нее немного восточный. В наружности у них с Заплатиным есть что-то общее.

Но у нее волосы самого "воронова крыла", как до сих пор еще называют в провинции и у нее на Волге. И теперешняя прическа покрывает ее голову как шапкой. Глаза темные-темные, и ресницы бросают тень – так они длинны. Рот немного крупен, но из-за свежих губ выглядывают чудесные зубы.

Никто бы с такой наружностью не стал так "корпеть", как корпела она в гимназии. За одну красоту ей медали бы не дали.

Еще гимназисткой она и в губернском городе, и у себя, в уездном, выслушивала признания и предложения "руки и сердца".

Но сердце ее совсем еще не говорило, вплоть до знакомства с Ваней.

Таких студентов она еще не знала. Его "водворили" на место жительства, и это ее сразу стало "подмывать". Она сама с ним познакомилась, и через несколько недель они уже "поженихались".

И тогда ее стало тянуть в Москву – учиться – сильнее, чем было, когда она только что кончила гимназию.

Учиться вообще очень тянуло; но чему?

Она стала и тогда уже задумываться над тем, что зовут "призванием".

Курсы?.. Будешь или женщиной-врачом, "жевешкой", как непочтительно зовут краснобаи, или учительницей. Другой дороги нет. Литература – беллетристика требует таланта, а то век будешь переводчицей или плохой компиляторшей.

Разве нельзя испробовать чего-нибудь другого?

С ее лицом, бюстом, ростом она, быть может, призвана совсем не к педагогии. Здесь медицинских курсов нет, а только высшие общие.

Да и тут надо бы допросить самое себя постороже: что ее сильнее привлекает – математика с естествознанием или словесные науки?

По математике она шла хорошо; но ведь то гимназия, а не факультетская программа. И по словесности нынче "мода" заниматься по разным специальностям... История, всемирная литература или там "фольклор" – тоже модный предмет.

Третий день живет она в Москве, начались хлопоты, и вряд ли она попадет на курсы.

Придется, кажется, удовольствоваться какими-то "коллективными" уроками.

А если она будет принята – надо сейчас же подчиниться правилам или жить у родственников, или в общежитии.

Родственников она отыскивала. Оказалась какая то глухая старуха с племянницей, хворой девицей. С ними была бы нестерпимая тоска жить в одной квартире, да и комнаты у них свободной нет. В общежитии не сразу найдешь вакансию; а если бы и нашлась – тоже не особенная сладость.

Гимназисткой она жила у дальних родных отца, на полной воле; а дома, при отце, и подавно.

Хозяйка вот этих комнат – тоже что-то вроде интерната – уже внушала ей, что позднее восьми часов вечера не рекомендует принимать гостей мужского пола, "особливо господ студентов".

А вчера Ваня заходил за ней в исходе осьмого и проводил из ресторана поздно, в начале второго. Их впускал швейцар. Он, наверное, доложил хозяйке на счет "новоприезжей барышни".

И та ей сделает внушение.

Комната – неважная, узкая, на двор; еле-еле нашлось места для ее вещей. Хорошо, что она привезла свои подушки, белье и одеяло. Все это от хозяйки очень скудное. Так же и еда. Столоваться обязательно тут же.

Одного обеда – мало. К вечеру начинает "подводить".

Вчера она еще могла пойти поужинать со студентом в гостиницу, где было много народу, – "под машину"; а когда поступит в курсистки – этого уже нельзя будет себе позволить.

Еще менее – жить в одних номерах, как она мечтала у себя еще не так давно, и Ваня повторял тогда, что это можно будет устроить.

Теперь выходит не совсем так.

И вообще, она ожидала, что Ваня здесь, в Москве, "развернется вовсю". Она имела повод считать его настоящим студенческим вожаком.

А ему как будто не по себе. Совсем у него не такой вид, какого она ждала.

Разумеется, он очень обрадовался, много целовал ее, был даже особенно нежен.

Но в нем нет яркого подъема духа, хотя он ни на что еще не жаловался. Дела его идут хорошо. У него есть частная литературная работа, и он очень доволен тем, что "просуществует" на свой счет всю зиму и внесет за себя, за второе полугодие, из собственных денег.

А она? Бедный ее "папа" души в ней не чает и все свои "копеечки" собрал, чтобы снарядить ее... Когда она будет в силах сама себя поддерживать?

Печататься в газетах, искать уроков?.. Сотни их жаждут того же. Если и перепадет что-нибудь насчет переводов, так от Вани. Да и не знает она достаточно хорошо ни французского, ни немецкого, – даром что получала по пяти. Читать может французские книжки; но немецкие – труднее; да и самой надо владеть русским слогом, и не так, как годится для сочинений в гимназии.

Все это Надя Синицына перебирала в своей живописной голове, пока умывалась и приводила себя в порядок. Ваня хотел быть тотчас после десяти. Она напоит его чаем.

Вот и насчет свиданий с ним...

Если она поступит в общежитие – это будет очень стеснительно. И к нему ходить – тоже не особенно ловко. Он живет в студенческой мебелировке.

Не на улице же видеться?!

Они мечтали немало о том, как заживут, когда он кончит курс: но до того времени пройдет чуть не целый год.

Чтобы жениться, студенту надо выйти, хотя на время, а это ему – в его особом положении – совсем некстати. Замужние курсистки, кажется, могут быть; по крайней мере, она о таком запрете что-то не слыхала. Но опять-

таки надо ждать.

Да она и не желает его торопить. Когда они обручились, она, при его матери, говорила ему не один раз:

– Знай, Ваня, я ничего обязательного не допускаю. Не смотри на наше обручение как на кабалу. И ты и я – мы люди свободные. Как сердце скажет, так и решим окончательно.

И это ему тогда очень по душе пришлось.

Вчера у них, из-за пьесы, вышел горячий спор.

Это была та самая вещь, которую Заплатин смотрел на днях в театре Каретного ряда. Она о ней читала в газетах и там еще, дома, мечтала пойти, как только приедет в Москву.

Автор – ее любимый.

Ваня, хоть и смотрел уже один раз, добыл два места и высидел весь спектакль.

Она была как в чад.

В ресторане Ваня стал говорить и про всю пьесу, и особенно про героиню так, что она не могла не возражать.

Ей было неприятно, что он расстраивает то чувство, с каким она ушла из театра, своим разбором.

Спорить вплотную она не стала, тут на людях, в битком набитой зале. Но она так этого не оставит!.. С какой же стати будет она затаивать в себе то, что и пьеса, и – главное – несчастная героиня разбудили в ее душе?

Несчастливая, шалая девушка!

На чей взгляд? Отчего же "шалая"?

Что она увлеклась любимым писателем? Ничего тут нет ни дикого, ни постыдного. В жизни все так бывает. Много ли удачных влечений? И в нее влюблен был – тоже неудачно – герой пьесы, молодой декадент.

Его судьба – куда печальнее. И успех не скрасил его душевной жизни. Покончил с собою он, а не она – жалкая, подстреленная птица.

У нее есть другая страсть – сцена, искусство. Она кончит тем, что будет настоящей актрисой. Она выстрадала себе талант и в нем найдет свою высшую отраду.

Разве этого мало? Это – все!

Вот что она хочет развить Ване, как только он придет.

Он пришел в четверть одиннадцатого, как говорил – весь красный от сильного холодного ветра, – и стакан чая был очень кстати.

Сидели они за самоваром добрый час, до одиннадцати с лишком, когда ему надо было идти в университет "делать явку" – в аудитории.

Он первый заговорил о вчерашнем.

– Почему же ты не хочешь оставить меня с моим впечатлением? – спросила она его довольно горячо.

– Я тебе не навязываю, Надя, своих оценок... а только предостерегаю.

– От чего, Ваня?

– От увлечения нездоровыми мотивами.

– Это слишком пахнет прописью.

Надя еще в первый раз так резко говорила с ним.

– От такой жизни пахнет... мертвечиной.

И он впадал в более задорный тон.

Но она не сдавалась и заговорила о героине совершенно так, как думала за несколько минут до его прихода.

– Не согласна я с тем, что она – жалкая психопатка, какой ты ее считаешь, Ваня. Не согласна! Она любила бурно, с самозабвением. А потом нашла себе призвание.

– Дрянной актретки?

– Почему ты знаешь? Она отвратительно играла год, другой; а потом дострадалась до искры Божьей. В этом – все!

Глаза Нади – и без того большие – казались в эту минуту огромными, – и он на нее загляделся.

В первый раз подумал он:

"Какая у нее богатая мимика!"

До сих пор он иначе не думал о ней, как о будущей курсистке.

– Знаешь, Ваня... я от тебя не скрою, – продолжала Надя с таким же оживленным лицом, – была такая минута... когда она пришла проститься с несчастным самоубийцей и говорить о сцене, об игре, о том, как она может себя чувствовать перед рампой, – я слилась точно с ней... в одно существо.

– Вот как!

Возглас Заплата был как бы испуганный.

– Это тебе не нравится?

– Почему же?

– Потому что ты... как бы сказать, Ваня... не сердись, милый... очень уж... вот, слово не дается... по одной доске идешь.

– Прямолинейный – хотела ты сказать?

– Да... ты не обижайся, Ваня! Господи! Будь у меня хоть маленький талант... только настоящий... Что может быть лучше сцены?

– Весьма многое!

– Ах, полно! Где же – скажи ты мне, пожалуйста, – может женщина так жить, чтобы дух захватывало? Выше не может быть наслаждения: увлекать

публику. И самой забывать все, превращаться в то лицо, которое создаешь!

Надя с детства отличалась тем, что очень складно говорила, с отчетливой дикцией, контральным голосом. Заплатин давно соглашался, что она "речистее" его.

– Полно, так ли, Надя? – остановил он ее. – Этот мир – ужасный. Весь – из фальши и непомерного тщеславия.

– Не знаю, милый! Может, оно и так; но только искусство – и всего больше сцена – в состоянии так владеть тобою.

– Это еще не высшая задача.

– Ах, полно! Ты все про задачи. Ну, разберем это и с другой стороны. Ты сочувствуешь свободному труду женщины... чтобы она была вполне самостоятельна?

– Еще бы!

– Ну, и ответь мне: в какой карьере она может достичь того, чего достигает на сцене. А? В какой? Ни в какой! Ни медичкой, ни учительницей, ни писательницей она на первом плане не будет.

– Кто это сказал?

– Да оно так, Ваня. Мужчины везде стоят выше. Что же против этого спорить? Возьми ты литературу... за границей и у нас... за сто лет. Ну, две-три женщины, много пять – и обчелся, чтобы занимала в свое время первое место. А на сцене?.. Они царят!

– Положим.

Заплатин соглашался; но ему становилось почему-то жутко от того – в какую сторону шли мысли и мечты его невесты.

– Даже и не в главных ролях... Вчера та, что Машу играла... Тебя самого как она растрогала, а ты видал во второй раз.

– Чудесная натура!

– Ну, хорошо... А такая натура – вообрази ее учительницей или медичкой, что ли... Она просто будет нервная госпожа, каких сотни... Да что говорить!..

Надя поднялась и стала ходить по комнате.

Заплатин следил за ней глазами. Ее стройная фигура колыхалась в длинном пальто, которое она надела сверх юбки. Голову она немного откинула назад и правой рукой поводила в воздухе.

Он любовался ею.

– Где же быть, в другой работе – коли уже говорить только о работе, о профессии – Дузе, или Ермоловой, или другой какой артисткой, в те года, когда она владеет публикой? Ты скажешь – это все тщеславие, погоня за славой? Ну, прекрасно. Возьми трудовую сторону. Первая артистка на



театре получает больше мужчины.

– Потому что у нее туалеты.

– Положим. Но если б и с даровым гардеробом – она получала бы больше... везде. Тут, Ваня, не в жадности дело, а в том, что ты – не то что на равной ноге с товарищами-мужчинами, а первый между ними – и никто не посмеет это оспаривать!

– Согласен!

– Нет, выше нет дороги! И еще раз скажу: будь у меня хоть не важный, да настоящий талант...

Надя не договорила и присела к самовару.

– Ну, да об этом что же мечтать!

И она стала его спрашивать об университете, кого выдает из старых товарищей, из настоящих своих однокурсников.

– Знаешь что, Ваня, – сказала она ему тут же, – я вижу, что ты точно в чужом университете себя чувствуешь... Так ли это?

– Немножко так, – грустно вымолвил он. – Есть такая оперетка... кажется, "Рип" называется. Так там человек сто лет спал мертвым сном – и вдруг появился среди своих земляков... Не то чтобы совсем, а вроде этого и я испытываю...

– А как рвался!.. Точно в землю обетованную.

– Что же все обо мне... Вот тебе-то надо своего добиться.

– Чует мое сердце, что у меня этот год зря пройдет.

– Не сокрушайся. Если не удастся сразу поступить... все– таки даром зима не пройдет... А там и я – вольный казак.

Он протянул к ней обе руки и влюбленно глядел ей в глаза, желая привлечь к себе.

Надя сначала оглянулась на дверь, потом дала себя обнять.

– Я и здесь точно под надзором, – сказала она полушепотом. – А в общежитие поступлю... тогда еще строже будет.

– Обойдется, милая!

И почему-то им обоим стало грустно. Ни в ней, ни в нем не было того настроения, какое могло бы быть.

Почему-то не болталось о тысяче вещей, точно они боялись коснуться чего-нибудь, на чем не сойдутся; а спорить не хотели.

– Пора мне идти! – сказал он, вставая.

На курсы Надю не приняли – за недостатком свободных вакансий. Заплатин ожидал этого; но все-таки сильно огорчился; больше, чем она сама.

– На будущий год примут! Не беда, Ваня! – повторяла она.

Но возвращаться домой сейчас же она не желала.

Да и ему была бы тяжела эта разлука, хотя про себя, раскидывая так и этак, он спрашивал: "Что же она здесь будет делать?"

Насчет "коллективных уроков" она ничего еще не решила; но что-то у нее в голове бродит, до чего она его еще не допускает.

И это начало его полегоньку глотать; но он не считал себя вправе допрашивать ее.

И все на одной и той же неделе случился еще неприятный для него "инцидент".

Надя сразу стала "обожать" театр, где они видели пьесу, из-за которой у них произошел первый крупный спор.

Давали вещь того же автора, написанную в таких же нотах.

Он опять восхищался актрисой, что играла тогда неудачницу, пьющую водку. И тут она неудачница, еще более жалкая; но молодая, трепетная, с несчастной страстной любовью, обреченная прозябать в глуши, работая, как крепостная, на своего фразера, бездарного отставного профессора.

Они оба восторгались этой исполнительницей; вместе и всплакнули в одном месте.

И вот на этом спектакле, в фойе, с ними повстречался Элиодор Пятов.

Он еще издали "воззрился" в Надю, первый подошел, попросил Заплатина представить его.

Нельзя же было не познакомиться! Элиодор, сейчас же распустив свой павлиний хвост, пригласил присесть, начал угощать Надю, расспрашивать про ее планы.

Они с ней и в публике на "ты".

Пятов осведомился – не сестра ли она или кузина, и Надя тотчас же объявила, что они – жених и невеста.

– Вот видите, какой Заплатин скрытный! – вскричал Элиодор. – Мы с ним старые товарищи, а он – молчок! Хоть бы какой намек на то, что он у себя там нашел свою судьбу!

И в следующем антракте Элиодор опять поймал их.

Надя нашла его "интересным", совсем не похожим на купчика.

Он узнал, что она мечтала о новых курсах, но вряд ли удастся поступить.

И до тех пор Пятов не отстал от них – они даже опоздали на

последний акт, – пока не взял слова с Нади, что она как-нибудь на днях "удостоит" его посещением, вместе с женихом.

– Вот когда Заплатину нужно будет ко мне, насчет работы – и пожаловали бы с ним вместе позавтракать.

И, обращаясь к нему, он добавил:

– Только накануне, голубчик, дайте мне знать.

Заплатину было сильно не по душе, что Надя согласилась, а она, после театра, когда они возвращались на извозчике, стала ему говорить:

– Ты на него слишком уже строго смотришь, Ваня. Он вовсе из себя не корчит хозяина... принципала, как ты называешь. Тон с тобой совсем товарищеский. И такая прекрасная работа. Ее на улице не найдешь.

На другой день она вернулась к знакомству с Элиодором и спросила его:

– А разве ты, Ваня, не мог бы позволить мне взять на себя что-нибудь из твоей работы?.. Переводить отрывки, которые ты отметишь полегче.

– По-английски ты не знаешь.

– Ведь будут выписки и с других языков?

А когда она получила отказ по курсам – Надя опять заговорила о том, – с какой бы охотой она стала ему помогать.

– Пока мы решим, как мне толковее провести зиму – это было бы самой подходящей работой.

Он ничего не возражал. Может, он и сам бы ей предложил попробовать себя в переводах тех отрывков, какие он давал бы ей; но для него точно кол в горле было это знакомство с Элиодором и приглашение его пожаловать к нему "откушать".

Третьего дня она ему напомнила:

– Когда же мы к твоему Элиодору? Неловко так оттягивать.

Он должен был дать ей слово, что напишет ему в тот же день.

Сегодня он весь сам не свой с утра. В двенадцатом часу он должен зайти за Надей и везти ее туда, на Садовую, за Илью Пророка, в хоромы своего однокурсника-принципала.

Надя объявила хозяйке, что остается у нее только до конца месяца. На курсы она не попала, стало быть, нет ей и никакого резона подчиняться разным строгостям этого "полуобщезития" – как она называла эти комнаты.

А тем временем она подыщет себе что-нибудь поблизости.

Ее отец дал ей "carte blanche". Если она и не попадет па курсы – пускай осмотрится и выберет себе, что ей "по душе".

Он нашел Надю в большом туалете. Никогда еще не видал он ее такой

нарядной. Видно было, что и своей прической она занималась, как никогда.

– Вот ты как расфрантилась! – не воздержался он.

– А тебе это не нравится? С какой же стати очень прибедниваться? Он все-таки купец. Таким надо показывать, что в их капиталах не нуждаются!

– Но вообще... я не вижу большого смысла во всем этом.

– В чем, Ваня? В моем знакомстве с Пятовым! Ха, ха! Да мы не ревнуем ли?

– Вовсе нет.

Он немного покраснел.

– Ты не знаешь этого народа. Это не что иное, как желание обласкать... в покровительственном духе.

– Вовсе нет! Как тебе не стыдно? Человек узнал, что я – твоя невеста. Ты с ним товарищ... Что же может быть естественнее?

– Но он живет не с матерью, а один, на холостой ноге.

– Так что ж из этого! Ваня, я тебя не узнаю... Ты точно классная дама какая-то... Право! А если б кто из твоих товарищей пригласил нас к себе чайку выпить – разве бы ты стал разбирать: женат он или нет?

– Большая разница – в оттенке.

– Ты опять скажешь: принципал, патрон, хозяин! Но ведь этого же нет. Если хочешь правды – ты с ним гораздо больше держишь себя – знаешь, как у нас говорят – "неглиже с отвагой", чем он. На его месте я бы давно обиделась.

– Это необходимо! Это – моя система. Пойми ты это.

– Понимаю... Но все-таки нет причины, Ваня, ему манкировать.

– Человек сильный в губернии! Ха, ха!

Возглас был с язвой. Он в первый раз поймал себя на этом и, боясь, чтобы не вышло опять неприятного спора, стал торопить Надю ехать.

Дорогой они мало говорили.

И похоже было на то, что они немножко дуются друг на друга.

Когда стали подъезжать к тем местам, где дом Пятова, Заплатин называл ей разные "урочища": он всегда употреблял этот термин, говоря о разных характерных местностях Москвы.

– Видишь... бельведер-то высится в воздухе? – указывал он ей рукой, когда они выехали на Садовую. – Это и есть палаты Элиодора Кузьмича Пятова.

– Что же! Красиво! И как стоят живописно! Неужели он один занимает такой дом!

– Один... Маменька где-то спасается.

– И ни сестер, ни родственниц?

– Никого.

– Обыкновенно ведь в таких богатых домах живут всякие старушки в задних комнатках.

О купеческих повадках Надя не стеснялась шутить с Заплатиным, как бы не считая его купцом. Да и в их городке на его мать смотрели как на "образованную" и помнили, что она была чиновничья дочь.

Но ее отец и все их знакомые любили пройтись насчет купеческих нравов.

Здесь, в Москве, такие вот "купчики-голубчики", как хоть бы этот самый Элиодор, – совсем другого сорта. Видно, что они давно начинают ставить себя "на линию дворян".

И этот первый визит в "хоромы" Пятова немного волновал Надю.

Когда их извозчичья пролетка въехала в ворота и поднялась к барственному подъезду, – она ощутила стеснение; но не желала ничем выдать себя ни перед женихом, ни перед хозяином дома.

В таких "хоромах" она еще не бывала. В губернском городе самые роскошные дома, куда она попадала, были Дворянское собрание, губернаторский дом и дом самого большого местного богача, где она, в зале, что-то продавала на благотворительном базаре, тотчас по выходе из гимназии.

Ливрейный швейцар почтительно снял с них верхнее платье. Видно было, что ему был уже дан приказ насчет приглашенных к завтраку "особ".

И на верхней площадке лакей в белом галстухе растворил дверь и попросил их в кабинет Элиодора Кузьмича.

Пятов встретил их посредине комнаты и сейчас же подошел к Наде и стал крепко пожимать руку.

Заплатину он кинул товарищески:

– Здравствуйте! И рукопожатие было совсем не такое усиленное.

– Если угодно, приступим к завтраку. Аппетит есть? – спросил он игриво у Нади.

– Не скрываю, Элиодор Кузьмич, – есть.

– Милости прошу.

Он повел их в столовую, предложив руку Наде. Заплатин шел позади.

У закуского стола хозяин накладывал Наде на тарелочки всякой снеди, начиная со свежей икры, и настаивал, чтобы она отведала хоть "капельку" выписанной из Киева рябиновой настойки.

Заплатину он раза два сказал:

– Кушайте, голубчик, кушайте!

Надя была особенно в ударе, зато ее жених – молчаливее

обыкновенного, и она даже раз-другой поглядела на него, как бы желая сказать:

"Полно тебе дуться, Ваня!"

Явилось вино в бутылках, положенных в корзины, на парижский фасон. И опять особые вилки для раков, на этот раз уже не речных, а морских, и даже не омаров, а лангуст.

"Скрозь" подавали и шампанское. Пятов предложил здоровье "дорогой гостью", а потом и здоровье "обрученных".

Эти любезности не трогали жениха. Он сказал на ту и другую здравицы: "Спасибо, Пятов", и даже не предложил здоровье самого хозяина.

Это сделала Надя, и в такой милой форме, что Пятов покраснел как пион, встал и произнес даже нечто вроде спича.

Вино заиграло и на щеках Нади. Ее большие и длинные глаза с удивительными ресницами заискрились. Она весело болтала и так просто, по-товарищески, точно она давно знает хозяина, как товарища своего жениха.

Заплатин не хотел попасть им в тон и для такого завтрака был слишком хмур.

– Вы знаете, Элиодор Кузьмич, – начала Надя, допивая свой стаканчик шампанского, – я теперь вольный казак!

– В каком смысле, Надежда Петровна? – все так же игриво спросил Пятов.

– На курсы я не попала. Надо ждать до будущего года.

– Будто это такое несчастье? Заплатин, что вы скажете?

– Неудача большая. Целый год пропадет. Не шутка.

– Ну да, конечно. Но разве Надежда Петровна так уже твердо определила свою жизненную дорогу?

– Элиодор Кузьмич! – остановила Надя Пятова. – Не касайтесь этого пункта! Заплатин и без того сегодня видите какой хмурый. Для него все должны быть: мужчины – студентами, девушки – курсистками. Ха, ха!

И, дотронувшись пальцем до локтя Заплатина, сидевшего справа от нее, она приласкала его взглядом.

– Ваня! Ты не сердись! Виноват хозяин... и его шампанское.

– Позвольте, еще налью!

Пятов протягивал бутылку.

– Нет, не могу... И так я слишком много выпила.

– Сколько я вас понимаю, Надежда Петровна... вы не так уж об этом сокрушаетесь... Да и в самом деле, – что же такое особенно

соблазнительное в звании курсистки?

– Какое же другое есть средство получить серьезное образование? – спросил Заплатин.

– Какое? Мы с вами, голубчик, знаем прекрасно, что лекции – только отбывание повинности.

– Как кому!

– На нашем с вами факультете – без сомнения. Ну, рефераты – еще так; а собственно лекции – трата времени... Десять-двадцать книг заменят вполне скучнейшие записки.

– Разве это не так, Ваня? – обратилась Надя к жениху.

– Пожалуй, в известном смысле; но для девушки это совсем не так.

– Может быть, у Надежды Петровны есть какое-нибудь влечение? – продолжал Пятов. – С ее наружностью... голосом...

– И прочее!.. – добавила дурачливо Надя. – Прямо в Дузы или в Ермоловы? Ха, ха!

– А почему же нет? – горячо возразил Пятов.

– Пойдите, – остановил его Заплатин. – И тут нужна наука, выучка.

– Кто же говорит, что нет? – вскричал Пятов. – В Москве целых два высших заведения. Курсы... при казенном училище... и в Филармонии.

– Так и туда надо попасть, – с некоторой как бы грустью выговорила Надя.

– В училище – прием труднее. Есть сроки, – продолжал Пятов, поглядывая на них обоих. – Но в Филармонии... Если только Надежда Петровна изъявит желание... в совете у меня несколько приятелей... С вашими данными... вы гимназистка – если не ошибаюсь – с медалью?

– Не ошибаетесь, Элиодор Кузьмич.

– Помилуйте!.. Это – пустое дело. Скажите слово, и я буду особенно счастлив облегчить вам все ходы и формальности.

– Страшно как-то, Элиодор Кузьмич...

Надя исподлобья взглянула на жениха.

Тот сидел с низко опущенной головой и как бы не заметил этого взгляда.

Такой поворот разговора серьезно смущал его.

– Смелым Бог владеет! Право, такая дорога куда превосходнее того, что вам могут дать курсы!

Поднявшись, Элиодор провозгласил:

– За здоровье будущей драматической артистки Надежды Петровны Синицыной!

Целых два дня Надя была как в чад у после завтрака у Пятова.

То, что начало носиться перед ней в виде чего-то несбыточного, после представления пьесы, где впервые ее повлекло на сцену, – то являлось теперь как нечто вполне осуществимое.

Серьезных препятствий ведь, в сущности, нет никаких.

Неужели только нежелание Вани?

Но разве у него есть какие-нибудь положительные "права" на нее, на ее волю, на выбор такого личного дела, как жизненное призвание?

Он ревнует! Но это не резон.

Ревнует к своему однокурснику, к этому миллионеру?

Так ведь это "глупости".

Пятову она, быть может, и очень нравится; но мало ли кому она нравилась и еще будет нравиться при ее "данных", как любит выражаться Элиодор?

Нельзя же сейчас смотреть на девушку – потому только, что она обручилась с вами, – как на свою собственность.

Так Ваня на нее, конечно, не смотрел. Он слишком хороший человек и не таких взглядов на женщину, ее права и самостоятельность.

Но он слишком "прямолинейный".

Этому слову она от него же научилась.

Хорошо иметь твердые убеждения, но нельзя же "перебарщивать".

Это тоже его слово. Оно в ходу в Москве, и она его часто здесь слышит.

Остается только вопрос: как прожить? Все равно, и на курсах надо тратить. Бедный папа должен был бы раздобывать и на ее содержание.

Но почему же Ваня не может взять ее в помощницы по той работе, какую он имеет у Пятова?

Ведь тому решительно все равно, кто будет участвовать в переводе разных отрывков, только бы было грамотно, а редакция будет принадлежать Ване.

Да ей стоит намекнуть об этом Пятову – он сейчас же бы предложил ей работу. Сколько угодно – и аванс бы дал.

Но она ничего не сделает тайно от Вани.

Все эти соображения волновали ее и после того, как чад мечтаний немного улегся.

Решительный разговор надо иметь, и как бы жених ее ни огорчился –



она должна попробовать счастья.

И наконец, что она теряет? Все равно ей ждать зиму и лето либо дома, либо в Москве. Почему же не поступить на драматические курсы в эту "Филармонию"? Может быть, на второе полугодие ее освободят от платы, если найдут, что у нее "великолепные данные", как находит Пятов: а он где не бывал?!

Когда они разговорились – за десертом – после завтрака на тему театра, он всех знаменитостей видал, и в России и за границей, даже какую-то испанскую актрису, о которой они с Ваней никогда и не слыхали. Также и какого-то итальянского актера – тоже для нее совсем новое имя.

Ведь нельзя же Ване – потому только, что он жених, – предоставить диктаторскую власть?

Только здесь, в Москве, она задумалась над тем: что такое брак.

Ваня перед их помолвкой сказал ей: – Надя! Ты еще так молода... замужество – дело не шуточное. Не забывай, что это – бессрочное обязательство. Оно может оказаться слишком тяжелой обузой.

Это выражение студента-юриста: "бессрочное обязательство", пришло ей на память вот теперь.

Разве действительно "бессрочное"?

И ей стало жутко, почти страшно.

Ведь нынче нетрудно и развестись. Везде разводятся, не в одних столицах, и в провинции. Ее подруга по гимназии – старше ее на два класса – успела уже побывать замужем, и когда они перестали ладить с мужем, он дал ей развод.

Это выражение: "дать развод", нынче в особенно большом ходу. Еще девчуркой-подростком она уже знала и употребляла его.

Мысль о разводе немного пристыдила ее.

Неужели они затем обменялись с Ваней кольцами, чтобы "сделать опыт"?

Она его любит; но любовь не должна же быть поводом к тому, чтобы закабалить себя.

Стоит только обменяться ролями.

Положим, она – курсистка, даже не простая, а медичка, и накануне выхода, когда она будет "женщиной-врачом". А ее жених – там, в Петербурге, студент-медик.

И вдруг у него объявился талант. Например, хоть голос. Ему сулят блестящую будущность, и он чувствует в себе артиста.

Такие примеры бывали. Она даже наверное знает, что здесь был такой любимец молодежи в опере, из студентов-медиков.

Они, женихом и невестой, мечтали идти рука об руку – как врачи, практиковать в одном городе или в одном уезде – где придется – или делать вместе научные наблюдения, печатать работы.

И вдруг все это рухнет.

Неужели она была бы такой эгоисткой, чтобы восстать против его настоящего призвания: быть первоклассным певцом, а не заурядным медиком?

В таком точно положении находится теперь ее жених.

"Но кто же открыл во мне талант?" – спросила она себя мысленно.

Никто еще не открывал – это правда; но она хочет сделать опыт. Не удастся – потеря пустяшная.

И опять, в десятый раз, повторила она все тот же довод:

"Все равно – у меня год пропаций". Вместо того чтобы тосковать по Москве там, у себя, она проведет его здесь, на драматических курсах.

В этой возбужденной беседе с самой собою застал ее приход жениха.

По ее лицу Заплатин догадался, что ему предстоит решительное объяснение.

И она не хотела дольше тянуть.

– Ваня, – начала она сразу, подсаживаясь к нему на кушетке, – я хочу с тобой поговорить.

Он взглянул на нее грустными глазами.

– Что ж... сделай одолжение! – глухо промолвил он.

– Ты только выслушай сначала. А потом уже будешь возражать.

– Я всегда так делаю, Надя. С каких пор ты меня считаешь таким неистовым спорщиком?

– Ну да, я знаю. Ты не обижайся, милый!

Надя положила ему руку на плечо.

От этой ласки он притих и опустил голову.

– Можно один маленький вопрос, Надя?

– Можно.

– Он сделает лишними всякие prelimинарии... Ты стремишься на драматические курсы? Ведь да?

– Да, Ваня!

И тотчас же она схватилась за свой главный довод:

– Что я теряю? Ну, скажи на милость: что я теряю? Что дома книжки читать или ходить на эти коллективные уроки, если они еще не закроются – все равно. Год у меня пропал во всяком случае.

Заплатин повел плечами, внутренне возражая ей.

– Позволь! Твоя речь – впереди! – горячо воскликнула Надя и взяла его

за обе руки. – Позволь! Я не говорю, что открыла сама в себе талант, я хочу только сделать опыт. И он может оказаться удачным. Ведь ты не можешь это отрицать – так, просто?

– Положим, – согласился Заплатин.

– Не можешь! Стало – нет никакого резона противиться этому.

Тут он встал с места и заходил перед кушеткой, ероша длинные волосы.

– Кто же противится? – возразил он. – Никто не имеет права нарушать твою свободу... Ты вольна поступать и думать, как тебе угодно.

Нервные нотки задрожали в его голосе.

– Стало быть? – остановила его Надя и вскинула длинными ресницами.

– Ни о каком сопротивлении – повторяю – и речи быть не может.

– Но этого мало, Ваня, милый! Я желала бы, чтобы ты согласился с тем, что в моем плане нет ничего ни дурного, ни нелепого.

– Я этого и не говорю, Надя!

И она привела ему – в виде победоносного аргумента – пример, где их роли были бы как раз противоположные.

Он выслушал ее, не перебивая, и довод – ей так показалось – подействовал своей логикой.

– Это возможно, – выговорил он, когда она молча, взглядом своих черных глаз, потребовала категорического ответа. – Но мы с тобой не знаем – во что это обошлось им обоим, а в особенности девушке, которая должна была расстаться с мечтой всей жизни?

– Но они не разошлись! Они могли обвенчаться и жить в одном городе, в Москве или Петербурге... я не знаю там... Он пел на сцене, она практиковала. В чем они мешали друг другу? Скажи!

– Я не могу ничего сказать. Это – воображаемый случай. Но если их любовь, их брак и не рухнул – не забывай... в примере, который ты выбрала, муж идет на сцену, а не жена.

– Разве это не все равно? – пылко возразила Надя.

– Нет, не все равно! Разница огромная!

Он присел к ней на кушетку и сам взял ее руку.

– Ты ведь не знаешь, Надя, что такое кулисы, театральные подмости. Разве можно в этом мире остаться тем, чем ты хочешь быть неизменно в жизни?

– Почему нет? Да в этом театре, где мы с тобой были два раза, разве нет замужних актрис? Я знаю, что есть. Ты сам мне говорил. И та, которая нас с тобой восхитила, – замужняя.

– Да, на одной сцене с мужем.

– Это все равно, Ваня. Все зависит от тебя, от того – какие у тебя правила, какой характер. Соблазны?! Они всегда есть. Знаешь, это уже старо – застрачивание сценой. Я еще в пятом классе видела у нас, во время ярмарки, пьесу "Кин, или Гений и беспутство". В ней этот знаменитый актер отговаривает девушку из общества. На сцене выходит очень трогательно. Но это ведь мелодрама, Ваня!

– Может быть... только, – голос его заметнее дрогнул, – если ты увлечешься и, сделав опыт, в эту зиму отдашься театру – тогда...

Он не досказал.

– Тогда что?

– Мне слишком больно говорить, Надя. Выходит так, точно я тебе препятствую найти призвание. Но согласись... не о том мы с тобой мечтали... не к тому готовились в жизни?

– Так ведь я, как заблудшая овца, могу вернуться в ясли? Ваня! Милый! Зачем вставлять себя в тиски... сразу? Разве не выше всего свобода? Сколько раз я это от тебя слышала? Скажи! Не – криви душой!

– Свобода... да, Надя. Актрисе она нужна больше, чем кому-либо, – это точно.

Он не глядел на нее и старался подавить свое волнение; но Наде показалось, что на ресницах у него блеснули слезинки.

– Твою свободу... я могу вернуть тебе... и теперь, – с трудом выговорил он.

– Что ты? Бог с тобой! Разве я к тому подбиралась? Ваня!

Надя обняла и поцеловала его в щеку.

– Как тебе не грех! – промолвила она, охваченная волнением.

– Все равно... Я тебе говорю теперь же: если ты отдашься сцене и тебя будет стеснять тот обет, который мы дали друг другу, – я возвращу тебе твою свободу.

Он чуть-чуть не разрыдался, быстро встал и отошел к окну, чтобы она не видала его лица.

Надя подбежала к нему сзади, взяла за талию и щекой приложилась к его щеке.

– Полно, Ваня! – вскричала она. – Это на тебя не похоже. Нервная девица ты, а я на амплуа мужчины – студента с таким прошедшим, как у тебя. Из-за чего же нам волноваться? Все по-старому. И я остаюсь в Москве... Буду при деле. Зимой съезжу к папе.

– Ты ему писала? – спросил Заплатин, не оборачиваясь к ней лицом.

– Писала. И в его ответе я уверена. И он ведь частенько говаривал:

"Тебе бы, Надюля, – на сцену! Богатая вышла бы ты Катерина... И даже Дева Орлеанская". Ей-Богу! Я не привираю задним числом. Можешь мне верить... Ну, полно! Как не стыдно! Даже чуть не разрюмился.

Она схватила его за плечи, повернула к себе лицом, поцеловала еще раз и, подведя опять к кушетке, посадила и села рядом, не выпуская его руки из своей.

– А теперь, – начала она весело-возбужденно, надо ковать железо, пока горячо. Поступить на курсы. Ведь и у них уже прошли вступительные экзамены. Нужна протекция. И тут надо взять за бока твоего Элиодора.

Заплатин сделал движение, точно хотел высвободить свою руку.

– Если ты не желаешь сам напомнить ему, – я это сделаю! – решительным тоном сказала Надя. – Но я не понимаю, Ваня, с какой стати ты так считаешься с ним?

– Он может мне давать работу, – горячо прервал Заплатин. – Я его товарищ, однокурсник...

– А я – посторонняя девушка? Почему же я не могла бы обратиться к нему... прямо, как к человеку со связями... любителю театра, даже и не будучи с ним знакомой?

– Это было бы гораздо лучше.

– Полно, Ваня! Воля твоя, – ты нервничаешь? Если твой Элиодор не хвостун – он поможет мне поступить на эти курсы; а хвостун – так мы и сами найдем дорогу. Точно то же я скажу и насчет работы... Нет у тебя никакого резона – не разделить со мною твоего заработка, не давать мне переводов потому только, что давалец работы – Пятов.

Она выговорила это решительным тоном.

Заплатин выслушал молча, и когда она кончила – поднялся с места и стал с ней прощаться.

– Ты все еще дуешься, Ваня? Это нехорошо!

– Прости! Я притворяться не могу. Ты госпожа своих поступков, но я не в силах радоваться тому, что в ближайшем будущем чревато... всякими последствиями.

– Чревато! Ах, Ваня! Что за книжное слово! Я не воображала, что ты... такой... не упрямец, а гораздо хуже – ревнивец.

– Будь по-твоему! – тихо выговорил он и, не прощаясь с Надей, вышел из комнаты.

Святки – на дворе.

У Заплата в его комнате, в тех же номерах – побольше света. Он перебрался на улицу и платит пятью рублями дорожке.

Снег блестит на крышах и отражается розовым отливом на стенах.

Время – морозное, настоящая декабрьская погода за несколько дней до рождественского сочельника.

Но на душе у Заплата нет праздника.

Он, в старой студенческой тужурке, стоит у окна и смотрит уныло на улицу.

Вдоль тротуара, по той стороне, идет чугунная решетка купеческих хором. Дом – особняк в греческом стиле – позади садика с фонтаном, прикрытым деревянным шатром. Деревья в инее. Так красиво, а любоваться не хочется.

Шныряют взад и вперед санки. Обыватели везут провизию. Кульки с гусями и поросятами весело торчат из передков и с колен проезжающих – в шубах и салопах. Все готовится к усиленной еде и ликованию.

А он не думает ни о каком святочном кутеже. Деньги у него есть. Внесет плату за свой последний семестр, и все-таки у него останется малая толика.

В эту минуту он ставил перед собою категорический вопрос:

"Поедет он или нет повидаться с матерью на зимние вакации?"

Она ждет. Отправляя его, она повторяла:

– Хоть на недельку приезжай, Ванюша!

Отчего же он не едет? Всего три дня осталось до праздников, и матери было бы особенно приятно видеть его при себе в самый первый день праздников.

Оттого, что подлое чувство гложет его.

Вот уже больше месяца, как он проходит через эти тяжелые душевные испытания.

Как легко возмущаться позорным себялюбием, какое заключается в ревности!

Шекспировский венецианский мавр – зверь, вызывающий жалость, не больше. Но он – "арап", человек низшей породы, кровожадный сангвиник, раб своего неистового темперамента.

Но для "интеллигента" – разве не позорно испытывать муки не мавританской, всепоглощающей страсти, а мужского самолюбия?

Да, самолюбия! В тысяче случаев ревности девятьсот с лишком приходится на этот мотив.

"Как ты смела променять меня на другой предмет любовного

интереса? Меня!.. Твоего первоначального избранника!"

Вот такой червяк начинает глодать душу каждого ревнивца!

Такая ли в нем клокочет страсть к девушке, с которой он полгода назад обручился?

Никогда он не любил никакой аффектации, никакого самообмана и рисовки.

Надя ему сразу понравилась. Прежде всего – своей наружностью. Он не предъявлял ей никаких особенных требований по части ума, а начитанность девушки по двадцатому году разве может быть больше, чем у порядочного первокурсника?

Главное – она им стала увлекаться, смотреть на него снизу вверх. Там, в их городе, он был единственный студент, водворенный на место жительства "за историю".

Это преклонение льстило ему, поднимало в его глазах обаяние красивой, живой и способной девушки, которая любила и слушать его, и делиться с ним своими взглядами и симпатиями, представляя их на его оценку и одобрение.

А в Москве этот культ "штрафного студента" стал быстро испаряться.

Надя сразу почувствовала под собою другую почву – силу красоты, возможность взять от жизни нечто более блестящее, чем место учительницы в городской школе или, много-много, в младшем классе женской гимназии.

Она не ошиблась в смутном чувстве таланта. Стоило ей поступить на драматические курсы – и там ее тотчас же оценили.

Руководитель курсов нашел в ней "превосходные данные", совершенно так, как и этот "оболтус" Элиодор, с которого и пошел весь "яд и соблазн" – на оценку ее злосчастного "женишка".

Так его называет тот же Элиодор, ухмыляясь, когда говорит с ним о его невесте; а это неизбежный разговор, когда он бывает у Пятова.

Да, от него и пошел весь "яд и соблазн". По его рекомендации Надю так легко приняли. Он хотел даже вносить за нее плату, сделать ее как бы своей стипендиаткой, да не допустил Заплатин. И что его особенно огорчило – это то, что Надя, кажется, приняла бы это как должное.

Она уже начала рассуждать так:

"Если очень богатый человек, любитель искусства, видит в ком-нибудь талант – отчего же ему не помочь?"

Она же сделала так, что Элиодор первый сказал ему:

– Отчего же бы вам, Заплатин, не уступить часть переводов вашей невесте? Что полегче? Разумеется, чтобы это не отнимало у нее слишком

много времени по курсам.

И вышло какое-то обидное для него, за Надю, участие в его работе, обидное не потому, чтобы он не хотел с ней делиться, а потому, что из этого вышло "одно баловство". Переводила она небрежно и медленно, и гонорар должен был ей отсчитывать он.

Выходило что-то некрасивое. За плохую и очень скудную количеством работу он отделял ей, по крайней мере, одну треть всего, что сам зарабатывал; она принимала и это как должное.

Этого мало. Элиодор от себя, и даже не сказав ему, дал ей переводить какую-то жиденькую брошюрку – с французского, и заплатил ей авансом по тридцати рублей с листа.

Не может же она не видеть, что все это – "подходы" богатого купчика, которому она приглянулась, и он даже в присутствии его, Заплатина, не стесняется в своем селадонстве.

Может быть, они видятся и за его спиной. Какое же есть средство это контролировать? Да он и не унизит себя до того, чтобы разузнавать и подсматривать:

Теперь у Нади порядочная квартира, в две комнаты, в одном из переулков Большой Дмитровки. Она принимает кого ей угодно, целыми днями не бывает дома, и они не видятся по двое, по трое суток.

Сколько раз приходилось ему зря заходить к ней, даже когда ему назначали часы!

В какие-нибудь два месяца эти театральные курсы отлиняли на ее душе.

Увлечение искусством уже проникнуто личными, суетными – на его взгляд – мечтами. Она уже воображает себя будущей Дузе и начинает находить жалкой карьеру трудовой женщины, особенно такую, какую дают высшие курсы. Она уже слышала о том – что можно иметь на первом амплуа через два-три года по получении аттестата – даже и в провинции.

Жалованье в пятьсот, в семьсот рублей в месяц – самая обыкновенная вещь.

А слава? А приемы публики? Разве можно сравнить их с чем-нибудь другим на свете?

Между ними уже легла какая-то черта. Сцен она ему не делает; но их свидания коротки, разговоры отрывочны и неискренни. И Надя первая сказала ему, что "при посторонних" им лучше бы быть на "вы".

Он согласился.

И вот теперь он состоит при Наде неизвестно в каком качестве.

Тайный жених? Обидное звание!



Между ними выходили уже если не схватки, то очень сильные разговоры, почти сцены.

И он должен сознаться, что каждый раз выдавал себя. Надя подсмеивается над его ревностью и в последнее их объяснение сказала:

– Что меня бесит, Ваня, это то, что ты не хочешь положить карты на стол. Ты – ревнивец, а все сводишь к принципам!.. Протестуешь из-за высшей морали. И тут у тебя нет искренности. Говори, что ты находишь в моих поступках... неблаговидного?

Сотни упреков накопились в нем, но главный мотив – тот, что она позволяет миллионщику, корчащему из себя мецената, ухаживать с очень прозрачными целями.

Он ей так и сказал. Надя сделала гримаску и ответила:

– Я ему нравлюсь? Может быть. А потом что? Когда я поступлю на сцену, я буду нравиться сотням мужчин, в партере и ложах. И многие будут за мной ухаживать... Как же с этим быть? Стало, мне нельзя быть актрисой! Лучше ты сразу объяви это.

Ему и следовало бы крикнуть: "Да, нельзя быть актрисой, если любишь мужа!"

Но он задышался и готов был чуть не кинуться на нее и крикнуть:

"Ты меня обманываешь! У тебя тайные свидания с Элиодором!"

Ничем и не кончилось. Только на душе был едкий осадок – осадок самопрезрения.

Одно уже выяснилось и теперь.

Надя дала ему достаточно понять, что она ставит уже теперь категорически: или сцену, или... "разойдемся во избежание дальнейших столкновений".

Она по-своему права. Он это признает, а пересилить себя не может.

И вся эта Москва, и университет, и товарищи, и зубренье лекций к государственному экзамену – все ему опостылело.

Чего бы лучше – уехать, хоть на две недели, утешить свою старушку? Так и на это не хватает решимости.

– Заплатин, здравствуйте! – окликнули его сзади.

Он нервно обернулся.

Посредине комнаты стоял Григоров – его старший сверстник по университету, но с другого – словесного – факультета.

Давно они не видались. Григоров был тремя курсами выше его и в тот год, когда Заплатина "водворили" на родину, пролежал больной почти всю зиму.

– А! Василий Михайлович! – вспомнил он его имя-отчество. – Вы в

Москве?

– А то где же? Значит, газет, государь мой, не читаете?

– Читаю... Вы на всех вечерах – первый запевала.

Заплатин поздоровался с гостем и, подведя его к клеенчатому, дивану, усадил. В лице Григоров сильно изменился, похудел, кожа желтая, вид вообще болезненный. Одет небрежно, в черный сюртук, белье не первой свежести. Но, как всегда, возбужден, глаза с блеском, речь такая же быстрая, немного отрывистая.

И все так же "заряжен" – служением "общественному делу".

– Разыскали меня? – спросил Заплатин.

Они были с ним на "вы".

– Как видите. Вот сейчас был у одного паренька... У него феноменальный баритон. Из восточных людей... армяшек.

– Небось устраиваете какой-нибудь благотворительный вечер?

– Всенепременно!

– Меня-то уж никак не завербуете... я – что называется: ни швец, ни жнец, ни в дуду игрец – по части талантов.

– Нам всякого народа надобно.

– Афиши продавать... или на места рассаживать?

– Это своим чередом... Большая мизерия... Кому же и похлопотать, как не нашему брату?

– Все еще верите, Василий Михайлович, в российский прогресс?

Вопрос этот вырвался у Заплатина точно против воли.

Григоров был олицетворением служения этому "российскому прогрессу". Вечно он в тихом кипении, бегает, улаживает, читает на подмостках, посещает всевозможные заседания, дает о них заметки в газеты, пишет рефераты, издает брошюры, где-то учительствует, беспрестанно заболевает, ложится в клинику, но и на койке, больной, продолжает хлопотать и устраивать в пользу чего-нибудь и кого-нибудь.

– Зачем такой скептицизм, Заплатин? – ответил Григоров, прищурив на него правый глаз. – Это не порядок.

– Да посмотрите, что теперь царит везде.

– Где? В так называемых сферах? Пуцай их! Мы свою линию ведем.

– Не самообман ли это, Василий Михайлович?

– Почему так?

Григоров круто обернулся к нему и полез в карман за папиросницей.

– Почему? – переспросил он, поведя головой, причем вихор на лбу всколыхнулся. – Такими рассуждениями только им же в руку играть, этим сферам. Что есть лучшего здесь, на Москве, самого честного и передового

– все это держится... нами же. Значит, нужна солидарность!..

– Положим...

Заплатину хотелось противоречить этому вечно заряженному носителю прогресса.

– А пока что, – продолжал Григоров, – приходите в четверг ко мне... Я все там же... вы помните – в Кривоникольском, дом Судеева. Ведь вы бывали в нашем кружке?

– Бывал.

– Ну, то-то же! Реферат будет по поводу одной повести на психо-социальную тему. А через две недели ровно я на вас рассчитываю. Будет немало всякой распорядительной работы. Теперь зимние вакации. Удосужитесь. Не все зубрить. Вам стыдно было бы отказываться.

Григоров опять подмигнул ему.

"Вы, мол, из тех, которых высылали".

– Ладно, удосужусь, – вяло выговорил Заплатин.

Он решительно не находил в себе настроения, подходящего к тону и "подъему духа" Григорова.

– Вы, должно быть, переборщили... насчет зубристики? Успеете. А я на вас рассчитываю... И ко мне приходите непременно.

Григоров поспешно затянулся и так же торопливо бросил окурок.

В другое бы время Заплатин стал его расспрашивать про все, что делается в "интеллигентной" Москве. А тут – ни малейшей охоты беседовать с ним и точно полное равнодушие ко всему тому, из-за чего тот вечно хлопочет.

Когда Григоров ушел, ему стало еще тяжелее и противнее за самого себя.

В каких-нибудь два с половиной месяца он до такой степени "развихлялся".

Разве он похож теперь на того возвращенного в Москву студента, который шел по Моховой к перекрестку Охотного ряда и так бодро и убежденно раздумывал на любезные его сердцу темы?

Тому студенту принадлежало будущее; а этот только носится с своей "постыдной" страстью, а все остальное – точно выпущено из него, как из гуттаперчевого шарика.

Опять очутился он у окна и стал смотреть в ту сторону, где здание, куда ходит Надя и готовится к своим будущим триумфам красавицы актрисы, предназначенной к тому, чтобы привлекать к себе мужчин и отравлять их душу, как уже отравлен он – ее тайный жених.

Совсем не так проводила свой день Надя.

Она и сегодня – как все время, с тех пор, как поступила на драматические курсы, чувствовала себя приятно настроенной. Днем – уроки из общих предметов, а вечером она ходит на упражнения, и в них-то вся суть.

На этих упражнениях ее сразу и оценили. Теперь она уже разучивает отдельные монологи и сцены из "Псковитянки", сцену у фонтана и, разумеется, письмо Татьяны.

Читать стихи вслух она любила и в гимназии, и лучше ее в классе никто не читал.

И в каких-нибудь шесть недель она схватила разные "штучки", которые требуются в классе для хорошей читки.

У нее найден обширный "регистр" звуков. Кто-то ей даже сказал:

– Вы точно Баттистини!

Но нужна сноровка, чтобы владеть этим регистром. Эта сноровка дается ей, как и все остальное – и жесты, и умение держаться, кланяться, ходить по сцене, – все, что другим совсем не дается.

Каждый день она в особом артистическом настроении. Ее уже согревает и тешит чувство веры в себя, сознание того, что она выбрала свою настоящую дорогу, что она – будущая артистка, что ею довольны, что ее уже отличают.

Не одна ее эффектная наружность помогает этому. Есть среди ее товарок – и по ее курсу, и старше – хорошенькие девушки. Две даже очень красивые, почти красавицы.

Но дело не в одной наружности.

Это она замечает и по тому, как к ней относятся и однокурсницы и старшие. В ней уже видят опасную соперницу. Одни лебезят, другие ехидствуют.

Все это забавляет ее – точно она уже на сцене, в настоящей труппе, или участвует в житейской комедии, где она уже – центральная фигура.

Сегодня – после двух лекций – она взяла извозчика и приказала везти себя на Садовую, к Илье Пророку.

Пятов ждет ее. Она представит ему перевод одной брошюры; перевод, кажется, вышел удачно.

Ване она перевод этот не давала выправлять. Это – ее самостоятельная работа. Он про нее знает и довольно!

А то начались бы непременно кисло-сладкие разговоры – и все об одном и том же.

Он – ревнивец! Его характер выказался только теперь, когда пошла настоящая жизнь. И она чувствует, что не нынче завтра надо будет сказать ему: "Знай, что я от сцены ни под каким видом не откажусь... Если ты будешь такой же и мужем – лучше нам не связывать друг друга".

Он – хороший, честный и умный; но днями – скучный, а когда дуется, то даже очень несносный.

Наверное, он будет подбивать ехать вместе на зимние вакации. А ей этого совсем не хочется. Она писала отцу – как ей теперь хорошо в Москве. А тут святки, театры, концерты, катанье на "голубях" – парных санях за заставу. Один он не поедет и будет здесь торчать без всякой надобности.

Вот и сегодняшней визит к Пятову...

Она не скрывает, ничего не делает тайно; но скажи она ему вчера, что Элиодор ждет ее, – наверное, было бы объяснение.

Конечно, Пятов оставит ее завтракать.

Это еще в первый раз. Но почему же она не может позволить себе этого?

Потому только, что ревнует жених?

Тогда надо бросить свою артистическую дорогу и сделаться ординарной курсисткой, с перспективой получить место учительницы там, где Заплатин будет чиновником или помощником присяжного поверенного.

"Элиодору" – она так его называла про себя – она сильно нравится; но он фатоват, слишком высокого мнения о себе и думает, вероятно, что "противостоять" ему трудно.

Пока он ухаживает не глупо, интересуется ее успехами в школе, хвалит ее умело – она уже декламировала ему, – ведет себя, как товарищ Заплатина должен себя вести с его невестой.

Но пальца ему в рот не клади. Ей не трудно следить за собою, когда они с глазу на глаз, потому что он ее совсем не волнует.

Глупый Ваня не хочет понять – до какой степени такой "меценат" может ей быть полезен – не только теперь, когда она ученица, но и потом, при выходе на сцену.

Если такими пренебрегать, так лучше идти в сестры милосердия.

– Вот и я! Не задержала вас?

С этими словами Надя входила в кабинет Пятова, держа тетрадку в руке.

Он не выпустил ее руки из своей и спросил, играя глазами:

– Позвольте поцеловать?

Каждый раз он это спрашивал, и в присутствии жениха, и без него. Это ей нравилось. Другой бы "чмокнул" прямо, без всякого позволения.

– Работа готова. Думали – я буду тянуть?

– Удивительно, Надежда Петровна, как у вас хватает времени.

– Видите, хватает.

– Благодарю вас...

Он пригласил ее присесть на маленький диванчик и сам сел рядом.

– Знаете... я что хотел вам сказать? – начал он, заметно любуясь ею. – Вам что же утруждать себя переводом тех отрывков, для работы Заплатаина... Это для вас слишком сухая материя. У меня найдутся еще вещи в таком же роде... И это поставит вас гораздо самостоятельнее... хотя милейший Иван Прокофьевич и имеет некоторые на вас права.

– Какие это? – возразила Надя и даже сверкнула глазами.

– Жених!

– Это недостаточно.

Помолчав, он потише спросил ее:

– Он, кажется, не в особенном восхищении, что вы нашли свое истинное призвание?

– Пускай его!

Может быть, ей не следовало так отвечать.

Пятов взял тотчас же ее руку.

– Это вас не смущает, Надежда Петровна?

– Мы уже достаточно объяснились. Нового от него ничего не услышу.

И этого, быть может, ей не следовало говорить. Но ей приятно было сознавать себя вполне свободной личностью.

– Но если оно так пойдет, – продолжал все тем же ласково-интимным тоном Пятов, – перед вами встанет более серьезный вопрос.

– Я понимаю, Элиодор Кузьмич, что вы хотите сказать. Это уже его дело!

– С таким мужем вы не будете свободны. И до поступления на сцену, слушательницей драматических курсов... вы уже будете стеснены.

– Чем же? – Как чем? А если Заплатаин будет – когда кончит курс – настаивать на свадьбе... не захочет ждать целых два-три года? Вы об этом разве не думали?

– Об этом... нет! У нас есть, кажется, две замужних. Но тогда какое же ученье?..

– Именно!

И тут только она спросила себя мысленно:

"Зачем он меня дразнит этими вопросами?"

– Простите... я не хочу вас смущать... но я так ценю в вас будущую артистку...

– Не раненько ли, Элиодор Кузьмич?

– Вовсе нет! Вы сами знаете – как вас сразу стали и там ценить.

И, точно это было между ними условлено, он, вставая, спросил:

– Угодно перейти в столовую? Завтрак готов.

Были опять удивительные закуски, бутылки старого вина в корзинах и «холодное».

Но Надя была с самого начала завтрака настороже. От простых вин она отказывалась, а шампанского выпила всего один стаканчик.

Пятов стал даже огорчаться.

Ей надо иметь "свежую голову" для вечернего класса. Сегодня она произносит монолог из "Девы Орлеанской".

– У вас еще целый день впереди, – упрасивал Элиодор. – Отдохнете в сумерках. Еще один стаканчик холодненького...

Когда он угощал, в его интонации слышался ей купчик.

И вообще, она в таком тет-а-тет, за завтраком, в его собственных "чертогах" – нисколько не увлекалась им.

Инстинкт подсказывал ей, что этот "интеллигент" из Китай-города, готовящий книгу об "эстетических воззрениях Адама Смита" – несомненно увлечен ею. Его глаза, губы, вся повадка, тон – все это выдавало его. Да он и не считал нужным скрывать то, как она ему нравится.

Его сдерживало в разговоре только то, что он – бывший "однокурсник" ее жениха; но сегодня он уже несколько раз подходил к вопросу ее будущей свободы, как артистки, и если не на словах, то глазами добавлял:

"С какой стати вы хотите связать свою судьбу, да еще выбрав себе в мужа такого похмурого, заурядного малого, как ваш Ваня?"

Не без умысла поставила она ему щекотливый вопрос: как это так случилось, что он – товарищ Заплата по курсу – остался "цел и невредим" и благополучно сдал свой государственный экзамен?

Она хотела ему показать, что миллионы, в ее глазах, не все, что ее жених, хотя он и заурядный студент, и сын провинциального купца третьей гильдии, но у него есть принципы, и он всегда способен поступиться своей свободой за то дело, которое считает правым.

Пятов даже немного покраснел и стал на особый лад ухмыляться, поглядывая на игру пенистого вина в его стаканчике.

– Ваш Ваня, вероятно, немало вам рассказывал про эту историю. Ну,

конечно, и насчет меня прохаживался в известном тоне?

– О вас ровно ничего не говорил, – ответила Надя, поглядывая на него вбок, и в это время чистила золотым ножом грушу.

– Будто?

– Уверяю вас. До приезда сюда я не слыхала ни разу вашего имени, когда мы по целым дням говорили.

– Почему же так?

– Вероятно, потому, что он не хотел вас осуждать, Элиодор Кузьмич.

Пятов выпрямил свою толстую грудь и выпил залпом все, что было в стакане.

– За что же осуждать меня? За то, что я не попался, как другие?

– Я не знаю.

– Во-первых, я тогда был нездоров. На лекции я не ходил. И не потому – смею вас уверить, – что трусил. Это, надеюсь, подтвердил бы и Заплатин.

– Весьма вероятно, – отвечала Надя все в том же подшучивающем тоне, который был для нее в эту минуту очень выгоден.

– Но если б я и ходил в аудитории и на сходки... я бы остался при своем мнении.

– При каком же, Элиодор Кузьмич? Это интересно.

Она игриво посмотрела на него.

– Не стоит перебирать всю эту старую историю.

– Отчего же не стоит? Одно из двух: или те ваши товарищи, кто поплатился, были правы, или нет. Передо мной Ваня не рисовался. Я, положим, была только что соскочившая со скамьи гимназистка, но дурой меня никто не считал. Когда он мне рассказывал подробности всего, что было здесь, я чувствовала, что он готов был всю душу свою положить за дело товарищей.

– И вы в него влюбились? – подсказал Пятов.

– Да, я его полюбила.

– Не слишком ли быстро, Надежда Петровна?

– Не знаю... Но вы ведь недосказали. И если бы вы были в те дни здоровы и ходили на лекции и сходки...

– Как бы я повел себя? Извольте, я не постесняюсь ответить вам. Я бы далеко не все одобрил из того, что натворили мои товарищи.

– Чего же именно не одобрили бы? – настаивала Надя.

– Разных видов насилия, – выговорил с очень серьезной миной Пятов.

Надя могла превосходно представить себе – как такой Элиодор держал бы себя на бурной сходке. Он вряд ли стал бы протестовать против большинства; по в "застрельщиках" ни в каком бы случае не оказался.



И ей хотелось своей миной дать ему это понять. Пускай обидится.

В этом разговоре Надя руководилась верным инстинктом красивой женщины. Элиодор – все-таки тщеславный купчик. Это свойство в нем – самое главное. Она ему начинает сильно нравиться. И его будет все больше раззадоривать то, что ей не трудно было "раскусить" его.

Чем бы ни кончились ее отношения к жениху, будет она женой Вани или нет – все равно: она его ставит выше такого миллионера, желающего играть роль тонко образованного джентльмена, сочиняющего книжки на эстетические темы.

Им надо пользоваться, но так, чтобы потом "локти не кусать".

Все это играло в ее красивой голове будущей театральной героини, и ее испытующие взгляды подхлестывали самолюбие уже влюбленного купчика.

– Другими словами, Элиодор Кузьмич, вы были бы на стороне умеренных?

– Да-с. По-моему, совершенно нелепо: из-за того, что где-то в другом городе с студентами обошлись бесцеремонно, – выпроваживать из аудитории тех, кто пришел по своей обязанности читать лекции. Резких споров я не люблю и не стал бы с вашим женихом препираться об этом, задним числом; но и особенного геройства я в этом не видел и не вижу! А по пословице: "лес рубят – щепки летят"; увлекись я тогда вместе с другими – и меня бы водворили на место жительства.

– Куда? Вот в эти палаты?

– Или заставили бы посидеть в Чухломе или Варнавине.

Отхлебнув вина, которое он себе налил, Пятов продолжал:

– Все это прекрасно. И я не желаю умалять достоинство таких студентов, как Заплатин. Но позвольте мне сказать вам, дорогая Надежда Петровна. Такой – как вы сами назвали его как-то – прямолинейный человек вряд ли способен подняться над своими, хотя бы и очень честными, взглядами на жизнь. Его карьера артистки, которая открывается перед вами, пугает. Да он и не признает за искусством его высокого значения. Что такое для него красота? Или финтифлюшки, или, хуже того, чуть не разврат.

А глаза Пятова добавляли: "И все это вы найдете во мне".

Надя, дослушав его, встала и стала собираться идти, внутренне поздравляя себя с гораздо большей победой над хозяином купеческих палат на Садовой.

И Ваня, если б он невидимо присутствовал при их завтраке, не мог бы ни за что попенять ей.

В собственном экипаже Авив Захарович Щелоков выезжал редко. Он любил ходить пешком во всякую погоду, особенно зимой.

И сегодня он пробирался в сумерки Кремлем, через Кутафью, на Воздвиженку, одетый не богаче опрятного приказчика, в пальтеце с мерлушковым воротником и в такой же шапке.

В боковом кармане у него лежала тетрадка, в осьмушку, вся исписанная его рукой. Он сговорился с Заплатиным – прочесть ему эту "промеморию" – так он называл свое сочинение.

Ему хочется – и не со вчерашнего дня – втянуть такого хорошего и развитого парня, как Заплатин, в круг самых ценных для него и душевных идей и стремлений.

Он и не пропускает случая в разговоре наводить Заплатина на свой "конек"; но сегодня, во время и после чтения его вероучительного "credo", беседа должна получить более решительный оттенок. У каждого из них будет более поводов высказаться... без утайки. Ни бояться, ни стесняться друг друга им нечего!

Да и помимо этого, Щелокову начало сдаваться, что Заплатин в последние недели стал впадать в какую-то "мерехлюндию". Тут что-нибудь неладно.

С невестой своей он его познакомил. И Щелокову сразу показалось, что такая подруга слишком для него эффектна. Ею восхищается "превыше всякой меры" и Элиодор. Из всего этого могут выйти осложнения, вряд ли очень приятные бедному Заплатину. Немудрено, что он стал впадать в задумчивость.

На женщину, любовь, брак – словом, на все, что, по-модному, называется "феминизмом", – Щелоков смотрел по-своему и в этом "пункте" особенно доволен тем, что ему, по его положению "столовера", не признающего возможности в настоящее время брака как таинства, не обязательно налагать на себя супружеские узы.

Для него и законная жена будет только "посестра" – подруга, в крайнем случае мать его детей, и только. Никаких особых прав она на его личность, на его душу, на весь его нравственный обиход не должна иметь.

Как Авив Щелоков, как человек с образованием и с мыслящей головой – он не считает всего этого верхом общественного и нравственного уклада; но это дает ему свободу, какой не имеют "церковные" ни в господствующей церкви, ни в каком другом терпимом исповедании, и за это он благодарит

судьбу и ни на какое другое положение по доброй воле не променяет.

Сам по себе он не бабник. Влюбчивости в нем не было с той поры, когда кровь начинала играть в жилах. Не знал он страсти, не страшился ее, как чего-то греховного; но и не позволял своему воображению вертеться около любовных сюжетов. Кое-какие "шалушки" бывали; но связи до сих пор не было. Когда придет его время, он подыщет себе подругу жизни "посестру" – добрую, неглупую и грамотную девушку, хотя бы и из бедного дома.

Ни за что, ни из-за какой писаной красавицы он не променяет веры и не пойдет в церковники, как сделал это отец Элиодора Пятова – такой же когда-то "федосеевец".

За это он отдаст голову на отсечение, и не из фанатизма, а потому, что он выше всего ставит свою религиозную свободу.

Положим, его "согласие" только терпит; но, "пребывая" в нем, он – вольный казак; нет никакого "казенного" начальства над его совестью. Он "сам себе папа" – как он любит, шутя, выражаться, и сам может когда приспеет время – стать больше, чем простым начетчиком, а если на то пошло, то и вероучителем.

Пустой, суетной "истовости" он в себе не видит. Если б она была, он хоть бы самому себе сознался.

Но не может он и оставаться все в тех же взглядах, верованиях[и упованиях, какие переданы ему от "стариков". Он куда дальше ушел и вот уже третий год работает над своим собственным "credo".

То, что можно было, по его разумению, согласить в философии и науке с откровением, он согласил, но и без него над этим работали умы "почище" его. У него – более скромная задача: показать своим единоверцам новые исходы, открыть перед ними более широкие горизонты, воздержаться от мертвечины, буквоедства или дремучего изуверского мракобесия.

И он уже не первый на этом пути. Брожение умов существует: кто поглубже забирается в своем "богоискании", тот уже не может повторять одно то, что отцы его считали неприкосновенным.

Та тетрадка, что лежит у него в боковом кармане, содержит в себе главные выводы, до каких он дошел.

Не затем он собрался прочесть ее Заплатину, чтобы "совращать" его в свою веру, а затем, чтобы посмотреть – насколько такие вопросы могут вызвать сочувствие в среднем, хорошем интеллигенте.

Заплатин – умный, способный думать малый; он не звезда, никаких особых талантов в нем нет; но он представляет для него – Щелокова – "среднюю пропорциональную" теперешнего развития лучшей доли

университетской молодежи.

А ему давно сдается – это он на днях высказывал Заплатину, – что она, эта "лучшая доля", слишком равнодушна к таким вопросам.

"То есть к чему же? – спрашивал себя он, когда разговаривал умственно с самим собою, – к чему же?"

К тому, что есть для человека самого драгоценного – к свободе совести, к ее неприкосновенности.

Вот сегодня, когда он прочтет Ивану Прокофьичу свои "итоги", – всего яснее и выступит, в какой степени сильно это равнодушие.

И произойдет уже "радикальная разборка".

Он не боится за их приятельские отношения. Заплатин, разумеется, стоит за полную терпимость.

Но этого мало! И, забегаая вперед, Щелоков уже повторял в голове все те доводы, которые у него накопились годами против такого "печального равнодушия", и не в пошлой толпе, ничего не знающей, кроме своей жуирской сутолоки, а в самой молодой, свежей интеллигенции.

Охваченный своими мыслями, он невзвиделся, как был уже около Экзерциргауза, перед Воздвиженкой. \_\_\_\_\_ – Ну, как? – спросил Щелоков, когда дочел последний свой вывод.

Он сидел у столика с единственной свечой под абажуром. Заплатин, поджав под себя ноги, примостился на клеенчатом диване.

В комнате стояла почти полная темнота.

– Что ж... Щелоков... Это очень содержательно и ново. И прекрасный у тебя... веский язык.

– Спасибо, Иван Прокофьич. Но это ты кладешь свое одобрение по части формы.

– Не одной формы, а и содержания, Авив Захарыч.

– Да... Но я, милый человек, хотел бы знать – как ты и люди твоего поколения вообще относитесь к самой сути всякого такого свободного исповедания веры?

Заплатин помолчал. Он и слушал чтение приятеля не так, как бы следовало. На душе у него было все так же скверно, как и два-три дня, как и пять дней назад. К тому же и голова болела невралгически. Сон у него отвратительный и во всем теле "прострация".

– Как сказать...

– Нет, позволь, – остановил Щелоков, положив свою тетрадку на стол, и подсел к Заплатину. – Я до сих пор, Иван Прокофьич, изумляюсь...

– Чему? – вяло спросил Заплатин.

– А тому равнодушию, с каким вы, интеллигенты, принадлежащие к

господствующему исповеданию, трактуете все, что составляет суть духовной жизни целого народа.

– Изумляешься?

– А то как же? Положим, ты и сотни других, прошедших через университетское ученье, – воображаете себя свободными мыслителями. Но это не резон! Ты все– таки член господствующей церкви. На тебя, прямо или косвенно, падает ответственность.

– Постой, Авив Захарыч. Никакой ответственности мы на себя брать не можем. Мы, уж если на то пошло, гораздо больше закрепощены, чем любой сектант.

– А отчего? – горячее перебил Щелоков. – Отчего? Оттого, что вы все так постыдно равнодушны к самому высшему благу... к свободе совести! Для вас говорить о вопросах веры, о других исповеданиях, о том, как насилуется совесть сотен тысяч, – праздные, почти неприличные для передового человека вопросы.

– Вовсе нет!

– Да так! Я давно, брат, наблюдаю вас. За все время, как я вращаюсь среди интеллигенции, я не помню ни одного горячего разговора на эти темы... у самой что ни на есть разрывной молодежи. А разве это фасон?..

– Но ты ударился в сторону, Авив. Тебе желательно было знать мое мнение о твоём исповедании. По существу я не берусь толковать о нём. Для этого надо быть и начетчиком в вашем старообрядческом смысле, и человеком особого вероучительного склада. А этого во мне нет... извини!

– Мое чтение – я тебе начистоту скажу, Заплатин, – было только претекст. Я желал вытянуть тебя на коренную беседу вот о том, что меня изумляет и сокрушает в вашем брате.

– Этого в один присест не решишь.

– Однако! Дело-то в том, что ни у кого из вас нет ничего в запасе. Вы об этом не думали. Оно для вас чуждо. А о том забыли, что вы, tacito consensu, миритесь с всеобщей нетерпимостью, миритесь с своим, как ты сейчас сказал, собственным духовным закрепощением. Небось собери здесь дюжину однокурсников, брось им какую-нибудь фразу, что автор "Капитала" ошибается в том-то и в том-то. И сейчас дым коромыслом поднимется. А тут духовная жизнь целого народа – и хоть бы нуль внимания!

– Это не совсем так, Авив. К религиозным движениям последних годов есть интерес в хорошей, читающей публике.

– Так... от нечего делать! Или из общего свободомыслия; но потребности настоящей, как в том же простом народе, – нет! А без Бога,

братец мой, жить нельзя. Я тебе не говорю – без какого. Но без того, что обозначается словом religio, вселенской, общемировой связи – жить людям, причисляющим себя к избранному меньшинству, – нельзя!

Никогда еще Заплатин не слышал, чтобы Щелоков так горячо и красноречиво говорил. Даже его прибауточный, рядский жаргон слетел с него, и в его тоне, выборе слов, жестах чувствовался не человек заурядной "умственности", не оптовый торговец ситцем, а бывалый студент, который больше десятков своих товарищей думал и читал.

– Ты, пожалуй, прав, Авив Захарыч, – сказал Заплатин, спуская на пол ноги, – но извини меня, я сегодня совсем швах. В виске зудит. Да и вообще... не скрою от тебя, я никуда не гожусь. Совсем развихлялся душевно.

Щелоков воззрился на него и вполголоса вымолвил:

– Сердечные дела небось?

И тотчас же с милой усмешкой прибавил:

– Иль... тяжело и с приятелем душу отвести? Ась?

Заплатин махнул рукой и отвернулся.

– Не поможет, – обронил он, также вполголоса.

– Да нешто вышла зацепка какая?

Своей ревности Заплатин продолжал стыдиться. Но она не стихала.

Надя не нашла даже нужным скрыть от него, что она на днях завтракала у Элиодора с глазу на глаз.

В первый ли раз – он не знает.

– Уж не Элиодор ли тут начал действовать? – спросил Щелоков, заглянув в лицо Заплатина.

Тот, не отвечая сразу, встал и начал прохаживаться по комнате.

– Не хочется мне об этом говорить, Авив.

– Не хочется, так не говори! Я в душу твою насильно забираться не стану. А ежели... я верно угадал и дело идет о женском сословии, то позволь тебе задать один вопрос: ты с этой девицей желаешь вступить в законное сожитительство?

– А то как же?

– И брак для тебя таинство?

Щелоков поднял голову и пристально поглядел на Заплатина. Тот остановился против дивана.

– К чему этот вопрос, Авив Захарыч?

– Можешь на него и не отвечать. Ежели действительно таинство, как для церковного, – тогда об этом речь будет после; а коли ты на него смотришь только как на необходимость или как на запись в нотариальной

конторе – тогда я тебе, как твой товарищ и приятель, скажу: так не гож/о, Иван Прокофьич.

– Что же не гож/о?

– А вот идти – без веры – на исполнение обряда, который для тебя не таинство, и совсем не потому, почему мои единовѣрцы отрицают святость брака до поры до времени.

– Оставим мы эту казуистику. Ты любишь порядочную девушку – как иначе освятить вашу связь в глазах общества?

– Как? А позвольте вашу милость спросить: примерно, на твоём бы месте был я, Авив Щелоков, который значит по федосеевскому согласию? И я пожелал бы "поять" себе в супружницы девицу государственного исповедания. Как тогда быть? Ежели она потребует от меня венца – я должен ей в этом отказать; а если она сама только формально принадлежит к лону своей церкви – она будет жить со мною.

– Как посестра?

– Да, как посестра, коли ты непременно хочешь раскольничье жаргонное слово. Так оно будет честнее и проще. А ежели и ты только по принуждению церковный, так зачем же тебе совесть свою насиловать? Точно так же и та девица – буде брак для нее совсем не таинство. Не пойдет она на свободное сожителство, – значит, она тебя не любит. От такой не в пример лучше отказаться, пока еще не поздно.

– Все это не то! – вырвалось у Заплатина, и он опять заходил, ероша волосы, всклоченные от лежанья на диване.

– Не то! Значит, началась... драная грамота? Послушай, Иван Прокофьич, присядь сюда, хоть на минутку. Так нельзя толком разговаривать.

Заплатин присел к нему, и Щелоков взял его за руку, приблизив лицо к его лицу.

– Жаль мне тебя, друже. Ты человек и душевный и умственный – на редкость! Перед тобою долгий путь... работы, развития, хороших дел гражданина. Вот теперь надо приобрести права. Можешь пойти по любой дороге. И вдруг – ты навек хочешь связать свою судьбу с бабенкой. Извини меня. Твоя девица и красива, и, может быть, выше других качествами изукрашена, но зачем такое бессрочное обязательство?

Выражение Щелокова было как раз то, какое Заплатин употреблял, когда говорил с Надей о браке.

– Рассуждения не новые, – выговорил он.

– За новостями в магазины мод ходят, Иван Прокофьич... Нельзя, друг мой сердечный, ставить все на карту из-за того, что природа наделила нас

влечением к женскому полу. Пускай подождет и твоя девица. Пускай сначала сама-то сделается годной в подруги не мальчику, а мужу. Это, кажется, Марина говорит – у Пушкина – Самозванцу. Я не проповедую распутства и сам им не зашибаюсь. Но, право, лучше уже временно согрешить, чем век свой маяться... А теперь не пойти ли нам в трактир? Хоть немного бы сбросить с себя любовную хандру? Ась?

– Спасибо... не могу. Голове все хуже. Ни пить, ни есть я не в состоянии.

– А тогда ложись и не обессудь меня за все, что я тебе тут наговорил.

Щелоков пожал ему руку и тихо вышел из комнаты.

## XII

Снежная сиверка гуляла по улицам и переулкам Москвы. Наступил четвертый день праздников.

Но все так же непразднично было на душе. Заплатин шел по тротуару, подняв воротник, шел без цели. Никуда его не тянуло: ни в зрелища, ни в гости.

Никогда он не чувствовал себя таким одиноким в Москве – никогда! Вечером – особенно!

Разве он мог себе представить, – когда мечтал с Надей, там у себя в городке, как они заживут в Москве, – что на праздниках, всего неделю перед Новым годом, они по целым дням не будут видеться!

Она каждый вечер – на репетициях, с какими-то любителями, – кажется, даже тайно от учителя декламации, который не очень это поощряет.

Он мог бы туда заходить, но не желает. Все это "театральство" сделалось ему противным до крайности.

Этот мир только теперь раскрылся перед ним во всей своей сути.

На примере Нади он видит, какая растлевающая струя забирается в душу.

Под предлогом увлечения искусством воздвигают в себе чудовищное себялюбие, самовлюбленность, какую– то хроническую манию. Все равно что азартные игроки.

Нет ни Бога, ни истины, ни науки, ни отечества, ни друзей, ни ближних, ни добра, никаких убеждений; а есть только пьеса, роль, публика, "приемы", есть горячка кулис и театральной шумихи, состояние опьянения от хлопанья ладоней и вызовов.



Ничего более чудовищного в нравственном смысле не существует! И женщину этот недуг пожирает еще жесточе, чем мужчину.

Что будет из Нади через три-четыре года? Он без ужаса не может и теперь подумать.

Не к одному миллионеру-купчику должен он ревновать, а ко всему, чем она теперь живет, к каждому монологу, который она учит наизусть, к каждой роли, ко всему, ко всему!..

Элиодор – только первая ступень его испытаний, первая "зацепка", как назвал Щелоков в том разговоре, где он – и как раскольник, и вообще – был безусловно прав.

Не узы брака страшны сами по себе, а та пропасть, которая развернется между повенчанными, если пойти под венец, как идут в почтовую контору – получать посылки, с расчетом на возможность разъезда или формального развода.

Рассказывая ему в игривом тоне о завтраке у Элиодора, Надя все давала ему понять, что ведет свою линию и нисколько не увлекается Пятовым; но нимало не прочь от того, чтобы он ею все сильнее увлекался.

Он не выдержал и крикнул ей:

– Этак только куртизанки ведут себя!

Она не огорчилась, не заплакала, не стала оправдываться, а сказала только:

– Ничего ты не понимаешь!

А потом прибавила:

– Право, ты, Ваня, не стоишь даже того – как я о тебе говорила с Элиодором, когда он стал слегка прохаживаться на твой счет и предостерегать меня насчет нашего будущего брака.

В каких-нибудь два в половине месяца у нее уже все свойства "жриц искусства", для которых все и вся должны служить средством подниматься выше и выше, до полного апофеоза.

Что ему было делать? Запретить ей иметь такие tete-a-tete'ы с Элиодором? Она не послушает. Да и с какого права?

Ведь у нее теперь свои дела с Элиодором. Она ему переводит и носит работу на дом – вот и все. Эта работа – только один предлог. Она и сама это прекрасно сознает; но тем лучше. Это в руках ее – лишний козырь. Элиодор ей платит за труд; она – честная работница. А играя с ним, полегоньку может довести его и до "зеленого змия". Она его не боится – это верно; но если так пойдет, то она может привести его к возложению на себя венца "от камня честна".

И тогда как же ему – Заплатину, бедняку, без положения – соперничать

с его степенством, Элиодором Кузьмичом Пятовым, на которого работает несколько тысяч прядильщиков, присучальщиков и ткачей?

Все это он целыми днями перебирал, отбивался от работы, даже перед своим "давальцем" – все тем же Элиодором – окажется неисправным работником.

И к товарищам его не тянет – отвести душу в каком-нибудь горячем споре.

Не хочет он лгать перед самим собою: его чувство к университету и студенчеству, к своим однокурсникам – не прежнее. Он боится даже его разбирать.

Перед закрытием лекций он испытал нечто крайне тяжелое.

Не личное столкновение, а кое-что гораздо более общее, показавшее ему, что за народ водится и среди его однокурсников, из тех, с которыми пришлось ему кончать курс.

Дело было так. Предложена была тема для реферата – предмет интересный, но требующий большой подготовки. Вызвался – раньше других – студент, которого он увидал тут едва ли не в первый раз или не замечал прежде.

По типу лица и по акценту – из инородцев, и скорее всего еврей. Так оно и оказалось.

И тут же, когда они расходились, едва ли не в присутствии этого студента, в одной группе "националистов" поднялось зубоскальство насчет "иерусалимских дворян", с таким оттенком, что он слушал, слушал и, на правах старшего студента, осадил какого-то "антисемита", и довольно-таки веско.

Тот стал отщучиваться, и все в том же антипатичном ему духе.

Он не захотел с ним связываться, но тогда же дал себе слово, что если этот "патриот своего отечества" позволит себе какую-нибудь выходку на прениях по реферату, он его отбреет и будет его обличать передо всем курсом.

Не все такие и теперь; но он точно потерял почву из-под ног, и старое желтое здание на Моховой как бы перестает быть для него *alma mater*. Вот придет скоро Татьянин день, – а ему не с кем отпраздновать этот день.

Напиться, разумеется, будет с кем.

В том-то и беда его, что он и напиться-то не может, прибегать к классическому народному средству заливать свою тоску вином.

Возвращаться домой, в свой хмурый "мумер" – так произносит их коридорный, – слишком нудно. Идти на ту репетицию, куда Надя разрешила ему заходить, – еще больше растравлять свое нутро.

Перед ним, сквозь мокрую снежную пургу – выступил цветной фонарь над входной дверью. Это была пивная; в окнах – по обе стороны входа – изображено было по кружке с пенистым пивом и наверху написано: "Кружка пять копеек".

"Почитать хоть газеты!" – подумал он и вошел в просторную первую комнату с несколькими столиками. Посредине – стол с газетами.

Не очень грязная пивная, вроде как бы немецкая.

Заплатин взял газету и сел к стене вправо.

Спиной к нему какой-то рыжеватый блондин, с плохо причесанными волосами, держал также газету, а лица его не видно было, даже в профиль.

На нем ваточное пальто из поношенного драпа и на шее вязаный дешевый шарф, какие продают в суровских лавочках.

Прихлебывал он пиво, не переставая читать, согнувшись, и подносил ко рту кружку.

Заплатин почему-то вглядывался в него.

Что-то как бы знакомое показалось ему.

Лохматый посетитель пивной обернулся в профиль.

"Да это, никак, Шибает?" – спросил про себя Заплатин и подался немного вперед, чтобы признать – точно ли это его бывший товарищ по курсу.

"Он, он!" – мысленно подтвердил Заплатин.

Тот обернулся совсем лицом и отложил ту газету, которую читал. Теперь уже не могло быть никакого сомнения.

Они оба разом поднялись со стульев и подошли друг к другу.

– Вы, Шибает? – первый спросил Заплатин.

Они "пострадали" вместе, но не держались на "ты"; на первых двух курсах были мало знакомы.

– Собственной особой! А вы, Заплатин, опять в этой сбруе?

И он указал на пуговицы студенческого пальто.

– Как видите. Рад вас встретить. Хотите ко мне пересесть? У меня будет поудобнее.

– Ладно!

Они сели друг против друга. Заплатин предложил еще по кружке пива.

Его бывший однокурсник – когда он к нему внимательнее присмотрелся – сильно изменился. Неряшливая рыжеватая борода очень его старила. На нем были темные очки, скрывавшие его больные, воспаленные глаза. Он, должно быть, давно не был в бане – от него шел запах неопрятного тела. Руки – немытые, с грязными ногтями и жесткой кожей.

Говорил он простуженным баском.

– Вы давно здесь? Опять приняты? – спросил Заплатин, быстро оглянувшись кругом.

– Нет, батенька, я с волчьим паспортом. Да, признаюсь, если б мне опять и дозволили носить звание студюозуса – я бы не прельстился.

Все это было сказано с кислой усмешечкой несвежего рта с нездоровыми зубами.

– Однако разрешено было вернуться сюда? – потише спросил Заплатин.

– Временно, государь мой, временно. Да я и это не счел бы благополучием. Я в недалеких отсюда палестинах. Про Туслицы слышали?

– Да... это...

– Во время оно гнездо фальшивых монетчиков и иных художников. Округа промысловая...

– И вы?

– В простых нарядчиках. Пандекты и всякие другие атрибуты – похерил. И повторяю: прими меня вот сейчас же и предоставь без экзамена свидетельство первого разряда – я бы пренебрег.

– Почему же так, Шибаев?

– А потому, что изверился, государь мой. Намедни, когда по Моховой шел мимо университета, – так меня стало с души воротить.

– Вот как!

– Уж я о порядках и не говорю. Каковы набольшие – такова и паства. Вот вы, как я знаю, были недурной парень. Ну, и поплатились, как следует. В студенческую братию я совсем изверился. Да и во всю нашу – с позволения сказать – интеллигенцию.

Заплатин слушал и не возражал. То, что говорил этот "нарядчик" из штрафных студентов, – отвечало его настроению. И он сам не очень-то умилялся над своим голубым околышем и над всем, что еще не так давно манило его в "обетованную землю".

– Хороши молодчики гарцуют по Москве? Д? Вчера меня такой на своем жеребце в яблоках чуть не разнес вот там, на перекрестке, у Газетного. Бобры, бирюзовые околыши... чем не "калегварды"?

– Они давно уже завелись. Еще Салтыков насчет их прохаживался в печати. И тогда уже были белые подкладки, и теперь водятся в достаточном количестве.

Заплатин выговорил все это вяло, точно нехотя.

– Все едино! И те, что обшиваются в дешевых магазинах на Тверской, где строят студенческие формы. Все едино, братец ты мой! Пора покончить

со всей этой маниловщиной.

– Какой, Шибает?

– А вот насчет студента! Возводят его в какой-то чуть не мученический чин! И мы с вами пострадали, как принято говорить на жаргоне. А что ж из этого? Десятки, сотни, кроме нас. И что ж, Заплатин, – Шибает подался к нему через стол, – как будто мы не знаем, сколько тут очутилось зрящего народа?..

– Панургово стадо?

– Именно! А самомнения-то во всех – ведрами, ушатами. Точно преторьянцы, состоящие при российском прогрессе... А я – прямо говорю – за целую дюжину таких избранных одного хорошего присучальщика не дам. Право слово!

Год тому назад и даже полгода такие обличительные речи встретили бы в Заплатине сильный отпор. А он слушал не возмущаясь. Он точно забыл, что сам студент, что на нем пальто с позолоченными пуговицами, что его должна связывать с массой студентов особая связь.

Но дрогнуло ли у него за последние месяцы сердце, прошла ли дрожь по спине от высокого духовного волнения в аудитории, или в товарищеской беседе, на сходке, или на пирушке?

Ни одного раза! И не потому только, что у него свой любовный недуг; и раньше, и в те минуты, когда его так сильно глодал червяк ревности, он ничего подобного не испытывал.

И много раз ловил он себя, возвращаясь с Моховой, на таком чувстве – точно он канцелярист, идущий из присутственного места, где строчил "исходящие" и перебеливал отношения.

– Вы куда же, синьор, собираетесь по окончании законом положенного срока? – с кривой усмешкой спросил Шибает.

– Не знаю, – проронил Заплатин.

– В аблакаты небось? Или мечтаете об ученых хартиях? Оставят при университете? В магистранты потянетесь?

– Где же... Надо иметь другие аттестации, да я и не готовил себя к ученой дороге.

– Бросьте!

– Что бросить?

– Бросьте всю эту претенциозную канитель! Не стоит. Я вот в этот год, когда переменял окончательное свое обличье – и внутреннее и внешнее, – знаете, к какому выводу пришел?

– К какому? – живее спросил Заплатин.

Шибает допил пиво, обтер пальцем пену на своих густых рыжих усах

и крикнул.

– А вот к какому, милый человек: интеллигенция там, на месте, где жизнь-то делает народ, ни к черту не годится.

– Песня старая!

– Пойдите! Дайте досказать. Не приравнивайте вы меня, пожалуйста, к нашим охранителям дореформенного типа. Я говорю только, что мы, с нашей мозговой дрессировкой, ни к черту не годны там, где нужно дело делать. На первом на себе я убедился. И проклинаяю – слышите, проклинаяю! – все те учебные книги и книжонки, которые зубрил или штудировал гимназером и студентом.

– Как же быть?

– Бросить все, выкинуть из головы горделивую дурь, что я-ста – соль земли! Как бы не так! Вы просто кандидат на казенный или обывательский паек, потому что прошли через нелепую процедуру, именуемую экзаменом. Тьфу!

Шибяев сильно плюнул на клеенчатый пол.

И на это Заплатин не стал возражать. Он и сам не лучше этого смотрел на собственную особу как представителя интеллигенции.

Но и продолжать беседу не было большой охоты.

Они простились с бывшим однокурсником, даже не сказав друг другу своих адресов. Шибяев остался в пивной и заказал себе еще кружку пива.

### XIII

От двух до трех можно, наверное, застать Пятова в конторе, в городе.

Туда и решил идти к нему Заплатин.

Он захватил с собою свою работу. Книг и журналов накопилось много, и нести их было неудобно.

Продумав ночью, до пятого часа, Заплатин решил, что завтра он должен иметь "нешуточный" разговор с Элиодором.

Расчет его оказался верным. Пятов сидел в конторе.

Когда его впустили туда, Элиодор ходил по конторе, а на диване сидел белокурый, большого роста – кажется, из немцев – коммерсант, в усах, бритый, старательно причесанный и одетый с иголочки. Воротничок и манжеты так и лоснились.

– Присядьте на минутку! – указал хозяин Заплатину на кресло в стороне.

Они торговались, и, кажется, уже довольно давно.

Гость – вероятно, приказчик какого-то фабричного склада – покупал.

Ему нужен был миткаль или что-то вроде этого. Он говорил совсем по-московски, без малейшего акцента, и раза два употребил в разговоре слова: "недохватка", "заминка" и "курса". Элиодор с усмешечкой в глазах ступал по паркетному полу конторы маленькими шагами, переваливаясь с боку на бок, и руки держал чисто хозяйским жестом – в карманах панталон.

– Так как же, Элиодор Кузьмич?

Блондин встал и оказался действительно огромного роста.

– Как я сказал, Юлий Федорович! Это – самая крайняя расценка.

– Дорожитесь... Ну, хоть полкопеечки бы сбросили.

– Никак невозможно! Шесть с денежкой... Дешевле вы теперь не найдете нигде. Не у вас одних недохватка в миткале.

– Мы это превосходно знаем!

– Ergo! – пустил Элиодор латинский возглас. Стало быть, цена самая христианская.

– Даже и полушки не скинете?

– Не могу-с!

Тут Пятов вынул правую руку из кармана и повер тел ладонью в воздухе.

– Позвольте сообразить.

– Да что же тут соображать, Юлий Федорович?

– Четверть копейки на аршин. Это – обжект.

– Конечно. Даром никто не даст.

Заплатин слушал с полузакрытыми глазами, и его однокурсник, со всеми своими интеллигентными затеями, автор будущей книги об эстетических взглядах Адама Смита – выступил перед ним, как настоящее бытовое лицо.

И как его короткие фразы: "не могу-с", "самая решительная цена", – отшибали рядами, амбарами, Ильинкой, Никольской, Варваркой! Этот, и влюбившись, не уступит "зря" полушки.

Коммерсант ушел после крепкого пожатия и, на ходу, поклонился и Заплатину.

– Что, голубчик, – спросил его Пятов, – небось про себя обличали вашего товарища в сквалыжничестве?

Вместо ответа Заплатин только пожал слегка плечами.

– В делах иначе никак нельзя. Вы думаете, четверть копейки – пустяки? А она в иные минуты составляет весьма непустяшную сумму. Для вас это – хотя вы ведь тоже из торгового сословия – тарабарская грамота. И для меня было так же еще каких-нибудь два года назад. Я отстранял себя от

всего этого. Презирал. Глумился. И тем немало огорчал родителей, даже и матушку, которая была весьма приятно удивлена, когда я изъявил готовность вести дело и серьезно к нему присмотрелся. Слава Богу! Теперь мы охулки на руку не положим.

– Верно! – выговорил одно слово Заплатин.

– Да вот вам один эпизод из моих студенческих годов. Тогда я, как настоящий интеллигент, зашибался дешевым альтруизмом. Вышла стачка на фабрике. Я и говорю матушке: накиньте им, значит, по гривенничку на кусок вот этого самого миткаля, который теперь до зарезу нужен на ситцевой фабрике Кранцеля. Что такое гривенник! Однако меня тогда не послушали – и прекрасно сделали... Вот теперь я знаю – что такое лишний гривенник на кусок миткаля.

– А что? – спросил Заплатин.

– Чистая потеря в семьдесят тысяч рублей из хозяйской прибыли.

Заплатин промолчал. У него внутри шла такая работа, что он не хотел вступать в разговор с Пятовым до той минуты, когда придет его черед.

– Ах, Заплатин! Знаете, какое я сделал открытие!

– Как же я могу знать, Пятов?

Тон у Заплатина был уже совершенно товарищеский, особенно в этом обмене фамилий, без имени-отчества.

– А вот какое... Мне попался... у Дациаро – я заехал купить один этюд... заграничный и выбрать несколько фотографий... И вдруг вижу кабинетный портрет молодой женщины – скорее девушки... в бальном, с голыми руками и цветами. И в черных волосах. Оказывается, что я никогда не видал или забыл. Мы еще тогда были с вами в гимназии. Кого?

– Вы мне все загадки задаете.

– Помните, кровавая трагедия, зимой, в окрестностях Вены... наследник престола... эрцгерцог Рудольф...

– Австрийский?

– Да. И красавица Вечера. Баронесса Вечера – его пассия. Оба покончили с собою. И в ней я нашел поразительное сходство – с кем бы вы думали? С Надеждой Петровной! Уверяю вас! Да вот поглядите.

Пятов побежал к бюро, выдвинул ящик и достал фотографию.

– Я тогда прямо проехал сюда и оставил здесь. Посмотрите, посмотрите!

Он потянул Заплатина за руку и подвел его ближе к окну.

– Разве нет сходства? А? Этот нос? А ресницы? А поворот головы? Ведь и эта баронесса Вечера была, по матери, родом откуда-то из Далмации, кажется, или из Хорватии.



– Что-то действительно есть, – пробормотал Заплатин.

– Как что-то! Все! И контур шеи, падение плеч! Смотрите эту линию. Поразительно! И усмешка рта, такого же пышного!

Губы Пятова слегка даже причмокнули, глаза бегали по фотографии, подергиваясь масляной влагой.

В эту минуту Заплатину хотелось оттолкнуть его и бросить ему в лицо увесистое слово.

Но он сдержал себя.

Не выпуская фотографии из одной руки, Пятов подвел его к дивану, где сидел перед тем немец, и сам присел, повернувшись к нему всем своим жирным туловищем.

– Вы не поедете к себе домой?

– Нет, не поеду.

– А что же так? Может быть... нехватка? Так, пожалуйста, Заплатин, что же вы стесняетесь... Хотите маленький аванс?.. А может, я уже вам должен?

"Желаешь меня удалить, значит?" – подумал Заплатин и высвободил руку из его пухлой руки.

– И вообще, голубчик... я все собирался поговорить с вами о вашей карьере. Вы – человек кабинетного труда. Вам прямая дорога – на кафедру. Но для этого надо... чтобы вас оставили при университете.

– Я не добиваюсь.

– Знаю... Да и не такие нынче времена. Вдобавок вы не можете быть на очень хорошем счету у высшего начальства. Надо время... когда все уляжется и забудется.

"Куда же ты пробираешься?" – спросил про себя Заплатин, сидя с опущенной головой.

– Своих средств у вас нет... настолько. Нужна поездка за границу... нужно по меньшей мере два года обеспеченной жизни. И тогда диссертация готова. Так ли? Вот я могу писать мою книгу хоть десять лет. Над нами не каплет. А вам – нельзя. И было бы крайне прискорбно, если бы вы принуждены были искать места или идти в помощники к адвокату. С какой стати?

"Кто тебя научил? – похолодев, вскричал про себя Заплатин. – Надя? Чтобы отделаться от меня?"

В глазах у него стали вращаться круги и в ладонях рук заползали мурашки.

– Так вот я и хотел, добрейший Иван Прокофьевич, предложить вам... по приятельству... как ваш однокурсник... Вы, конечно, выдержите экзамен

по первому разряду. Два года обеспеченного существования... Это был бы простой заем... а вовсе не одолжение. Вы понимаете... Я не хочу корчить из себя мецената. А с другой стороны, мы с вами не в таких дружеских отношениях, чтобы я мог себе позволить делиться с вами моим избытком.

Речь Пятова так и лилась. Он ласково улыбался глазами и пальцами правой руки все дотрагивался до борта сюртука Заплатина.

Тот дольше не мог молчать.

– Покорно спасибо! – глухо выговорил он и встал во весь рост.

Пятов оставался на диване.

– Вы это сказали таким тоном...

– Не знаю. Но позвольте спросить вас, господин Пятов, – вы считаете меня идиотом? Да?

– С какой стати?

– Нет, ответьте мне сначала: идиотом? Вы измыслили такую тонкую комбинацию и думаете, что я ничего не пойму? Вы предлагаете мне сначала удалиться на вакацию, а потом взять у вас содержание на два года и уехать в Германию? Так ведь?

– Что же тут обидного?

– Довольно, господин Пятов! Ни в каких ваших подачках я не нуждаюсь.

– Это ни с чем не сообразно! – брезгливо проговорил Пятов, поднявшись с дивана, и повел плечами.

– Довольно! – глухо крикнул Заплатил. – Не нужно мне вашей подачки. И вашу гнусную, селадонскую комбинацию вижу насквозь. Что ж, скажите, вы сделали мне это благородное предложение с согласия Надежды Петровны?

– Вотсе нет! – почти взвизгнул Пятов. – Это наше с вами дело... дело партикулярное.

– Может быть, может быть!

Губы вздрагивали у Заплатина.

– И вам одному пришла эта счастливая мысль?

– Но почему вы так к этому отнеслись? Кажется, тут, кроме моего товарищеского участия, нет ничего?

– Не нуждаюсь я в вашем участии, Пятов. Но повторяю: я идиотом никогда не был. И как бы к вам в настоящую минуту ни относилась Надежда Петровна, я вам прямо, по-студенчески, говорю: вы ведете себя недостойно.

– Продолжайте!

Пятов отступил два шага назад и стал спиной к бюро, опираясь на его

борт своим корпусом.

– Да. Недостойно! Я слова своего не беру.

– Почему же, смею спросить вас!

– Систематически развращать молодую девушку, показывая ей... какие вы на нее имеете виды?

– А вы почему знаете, Заплатин, какие именно?

– И вам известно, что она невеста другого!

– А – вот оно что! *Wo liegt des Pudels Kern!* Слы хали немецкую поговорку?.. Она – ваша невеста? Я это знаю и, кроме внимания, ей ничего не оказывал.

– Да, зазывая ее к себе на завтраки, с глазу на глаз.

– Что ж такого! Это не свидание в *cabinet particulier*. Вы изволите говорить, что я ее систематически развращаю? Ха, ха! Позвольте мне вам доложить, милейший Заплатин, что она нас обоих, как бы это выразить... Вам известно французское выражение: *elle va nous rouler?*.. Оставим фразы. Девушке этой двадцать лет, она на полной свободе, она – ваша невеста до тех пор, пока ей это угодно.

– А вы – другой претендент?

– Я не обязан вам отчетом в своих намерениях. Отец ее мог бы мне задавать такие вопросы. Нынче не те времена, милейший Заплатин. Мой приятель, товарищ по лицу, привез в деревню к невесте шафера и отлучился на одну неделю. А шафер прилетел к нему объявить, что она желает иметь мужем его, а не первого жениха. И это в лучшем дворянском обществе... на глазах у родителя... *Ergo*, – выговорил Пятов таким же звуком, как и в разговоре с немцем, когда он торговался из-за полкопейки на аршин миткаля.

– Вы не смеете так говорить! Это цинизм! – задыхаясь, выговорил Заплатин, подаваясь к нему.

– Потише! Вы, во-первых, у меня; а во-вторых, я, повторяю, не обязан вам ни каким-либо объяснением, ни оправданием. Если вы позволите себе сказать хоть одно оскорбительное слово – предупреждаю вас, что я шутить не буду. Я стреляю не хуже всякого парижского журналиста.

– Вот как!

Заплатину все эти вызывающие фразы и фигура Элиодора показались вдруг очень забавны.

Он подошел к дивану, взял тетрадку и, подавая ее, сказал:

– Вот моя работа. Книги и прочее пришлю с посыльным. Мы в расчете. Больше я на вас работать не желаю.

– На здоровье!

– Вы, пожалуй, правы. Если между вами и этой особой был уговор насчет устройства моей судьбы, то с моей стороны слишком наивно изображать из себя рыцаря. И я скажу – на здоровье. На то у вас и тятенькины миллионы, и денежка, которую вы сейчас выторговали у немца за миткаль – тоже пригодится.

Пухлые бритые щеки Пятова стало подергивать; но красные губы силились улыбаться. Одной ногой он нервно дрыгал, сохраняя все ту же позу на краю письменного стола.

– Счастливо оставаться! – кинул ему Заплатин, берясь за свою фуражку.

– Доброго здоровья! У вас, должно быть, нервы не в порядке. А насчет той особы будьте благонадежны. Она окажется посильнее нас обоих.

Что-то еще сказал Пятов; но Заплатин уже не слышал этих слов, и только на улице морозный воздух, пахнув ему в лицо, освежил голову и заставил овладеть собою.

#### XIV

Дни летели у Нади Сеницыной так быстро, что она точно теряла им счет.

Давно ли выпал первый снег, а теперь уже и Новый год позади.

Она вспомнила о Новом годе только за день до него – так она была увлечена репетициями в кружке пьесы, где ей сразу дали главную роль.

Вспомнила и о Ване Заплатине, забежала к нему, не застала дома, хотела написать записку – и не написала.

А в тот же день вечером она – на репетиции условилась отужинать в складчину и встретить Новый год на сцене.

Пригласить его она не могла. Ему слишком противно ее театральство, а если и придет, то будет хмур и неприятен, пожалуй, еще к кому-нибудь приревнует.

Так и пролетел Новый год.

Она забежала домой на минутку, под вечер, чтобы переодеться – и опять на репетицию.

Репетировать будут в первый раз с обстановкой, и она уже приготовила себе платье, в котором должна "создать" эту роль.

Это выражение она уже употребляет.

Хозяйкой своей меблировки Надя очень довольна. С горничной она ладит, комнаты содержатся чисто, и полная свобода насчет возвращения

домой в поздние часы.

И еда – сносная.

Только что она перешла в свою спальню – достать платье, в котором будет играть, – из коридора постучали.

Это ее немного удивило. Прислуга никогда не стучит; а никого постороннего она не ждала.

– Войдите! – громко крикнула она, не выходя в первую комнату, где у нее стояло и пианино.

Послышались мужские шаги. Она их сейчас же узнала.

– Это ты... Ваня? – окликнула она.

– Я, – ответил Заплатин глухо.

– Сейчас... подожди.

Надя положила платье на кровать и вышла к нему в первую комнату.

Заплатин вошел прямо в пальто и, у двери, стал снимать калоши, оставаясь еще в фуражке.

– Здравствуй... С Новым годом. Мы давненько не видались.

– Давненько, – повторил Заплатин и стал снимать пальто.

– Садись... вот сюда! – пригласила она его на угловой диван. – Ты все время был в Москве?

– А то где же?

– Я к тебе заходила... Тебе говорили?

– Нет, никто не говорил.

– Как же, я была... Думала встретить с тобою Новый год.

– Думала? – переспросил Заплатин с особым выражением.

– Мы встречали целой компанией на сцене, после репетиции. Я, признаюсь, боялась, что тебе будет неприятно в этой компании.

Она не договорила. Заплатин сидел, не глядя на нее прямо, и перебирал в руках околыш фуражки; потом бросил ее на стул, рядом, и тогда обернулся к ней лицом.

Оно почти испугало Надю.

– Что с тобой, Ваня? Ты нездоров?

– Послушай, – начал он вздрагивающим голосом, – зачем ты так поступаешь со мною?

Как будто испугавшись, она встала и отошла к окну.

– Как?

И он быстро поднялся.

– Вы с Элиодором Пятовым, твоим теперешним покровителем, надумали средство устранить меня... совсем, когда кончу курс.

– Не понимаю, что ты говоришь, Ваня. Как устранить?

– Не лги, ради Создателя! Не лги! – крикнул он и весь задрожал.

– Я не понимаю, что ты говоришь, – повторила она сильным голосом и, чтобы показать ему, что она его не боится, сделала к нему два шага.

– Не понимаешь?.. Ха, ха! Из каких же это побуждений – из любви ко мне, что ли, Пятов на той неделе стал предлагать мне – содержать меня, на свой счет, целых два года, чтобы я ехал за границу и готовился там на магистра?

– Я в первый раз слышу это.

– А я не верю тому, что ты говоришь. Расчет, кажется, ясен – он хочет удалить меня, чтобы я не торчал тут, чтобы ты попалась ему в сети.

– Да я-то тут при чем, скажи на милость? – возразила Надя, начиная приходить в себя.

– Как будто ты до сих пор не понимаешь, какие виды он на тебя имеет!

– Это его дело! Может, и замечаю. Но я им не увлечена.

– А бегаешь к нему, принимаешь от него завтраки, пьешь шампанское, берешь с него деньги за пустяшные переводы. И все это ты делаешь так, бессознательно, не понимая, чем все это отзывается? Ах, Надя, Надя!

Он почти упал на диван и опустил голову на подушку.

Надя ждала, что он зарыдает. Она присела на диван и начала говорить мягче, дотронулась рукой до его плеча.

– Постыдись, Ваня! Твоя ревность – просто безумие. Ты отравляешь жизнь и себе и мне.

– Молчи, молчи! Ради Бога! – закричал он. – Ты теряешь всякую совесть. Довела себя до того, что он – этот отвратительный хищник – говорит о тебе как о прожженной интриганке, которая – по его выражению – нас обоих проведет и выведет. И он имеет на это право. Ты им пользуешься теперь, имеешь виды и на будущее! В твоём отвратительном актерском мире и нельзя иначе ни чувствовать, ни поступать!

Слезы душили его. Он их глотал и с трудом мог бросать слова.

– Ты кончил? – спросила Надя.

– И то, что ты мне скажешь в оправдание, я не могу принять. Слышишь, не могу!

– Не принимай – твоя воля. Ну, хорошо, я – прожженная кокетка, хищница – под стать Элиодору Пятову, бездушная актриска! Так ведь? Но что же я такое сделала? Познакомил меня с Пятовым ты... Ты и привез меня к нему. Он помог мне попасть на курсы. Я ему за это благодарна. Да, благодарна. Вот мое настоящее призвание, а не курсы истории или ботаники. Тайно от тебя я к нему не бегала. Я тебе говорила про тот завтрак. Говорила или нет? – почти гневно крикнула Надя, подняв голову.

Он не ответил.

– Неужели у тебя так память отшибло? Ну да, я ему нравлюсь, и даже очень. Но я им не увлекаюсь и не увлекусь. И это я тебе говорила.

– Так ты желаешь, – перебил он с искаженным лицом, – чтобы я сделался твоим пособником... вроде тайного альфонса, и чтобы мы вместе обрабатывали и теперь, и впоследствии московского туза-мецената? Так, что ли?

– Ты с ума сошел!

– Нет, я правду говорю. Может быть, ты его и доведешь до того, что он поставит тебе вопрос ребром: желаете быть женой Элиодора Пятова или заурядного бедняка Заплатаина? Он и теперь уже не сомневается в твоём ответе.

– А ты?

Голос Нади дрогнул.

– Какое же может быть сравнение между нами для тебя, если он согласится оставить тебя на сцене? Я – и миллионщик меценат!

Заплатин порывисто схватил себя за голову обеими руками выше затылка, потом обернулся лицом к Наде и, близко придвинувшись, бросил ей:

– Скажи теперь... скажи! Кого ты выберешь?

– Не знаю, – ответила она твердо и с недобрый блеском в глазах. – Ты так ведешь себя со мною, что другая бы на моем месте сейчас же разорвала с тобой. Так слишком делается тяжело, Иван Прокофьевич, продолжала она, меняя тон. – Я уже говорила вам не один раз, что в рабстве не желаю быть ни у кого. Оттого что девушка обручилась с вами – она должна всю жизнь свою закабалить? Для нее открывается чудная дорога, а вы смотрите на дорогое ей дело как на гадость, на разврат! И считаете еще себя большого развития человеком... Интеллигент! Нечего сказать!

Она прошла по комнате взад и вперед и опять села на диван.

Заплатин сидел все в той же позе, охватив сзади низко опущенную голову обеими руками, и нервно, ритмично качал ее.

И вдруг он опустился на пол, подполз к коленям Нади и, упав на них головой, зарыдал.

Она не отталкивала его.

– Прости! – с трудом выговаривал он. – Я безумный. Не могу совладать с собою. Пойми ты это, Надя. Ежели бы тебя забрало такое же чувство, ты бы поняла и простила.

Он стал целовать ее руки, все еще стоя на коленях.

Ей сделалось жаль его больше, чем в другие разы, когда между ними

выходили сцены.

– Нельзя так, Ваня! – гораздо мягче заговорила она. – Ну... встань, сядь сюда... Поговорим ладком. У меня есть еще полчаса свободных... Ты не возмущайся – я не могу манкировать этой репетицией. Она вроде генеральной.

Он слушал ее с отуманенной головой. Но его сейчас же кольнуло в сердце ее актерское слово.

В его душе – ад; а она может ему уделить только полчаса, и ей нельзя "манкировать" грошовой любительской репетицией.

Вот что предстоит ему всю жизнь, если она и останется ему формально верна и будет его женой, когда он сдаст экзамен.

"Всю жизнь!" – внутренне крикнул он.

Руку его держала Надя и, склоняясь к нему головой, еще мягче говорила:

– Надо ладиться, Ваня! Всякому свое. Ты будешь профессор, чиновник или там адвокат... Я не стану требовать, чтобы ты из-за меня портил свою дорогу. Разумеется, хорошо будет жить всегда вместе, круглый год. Но случиться может, что и нельзя будет. Придется на сезон... зимний или летний... в разделку. Как же иначе быть?

– Как же быть! – точно про себя повторил Заплатин, и его глаза смотрели в пространство.

– Все от нас самих будет зависеть. От согласия... от доверия. А без этого на что же мы пойдем... поженившись? На ад кромешный?

Он крепко сжал ее руку и повернулся к ней лицом.

– Ты правду говоришь, Надя. Ад кромешный. И я должен тебя от него избавить.

– Как же это... Ты?

– По-другому любить не могу. Ты сама видишь. А это гадко – так ревновать. Дальше пойдет еще хуже, когда ты поступишь на сцену. Не о себе я должен думать, а о тебе, Надя... Переделать себя я не буду в силах до тех пор, пока ты мне дорога... как любимое существо.

– Надо себя побороть, Ваня.

– Выслушай меня до конца!..

Он перевел дыхание и стал говорить медленнее, сдерживая слезы.

– Не в состоянии я буду мириться с тем миром, куда тебя тянет, Надя. Хотя бы ты была с талантом Дузе. Нельзя такому человеку, как я, быть мужем актрисы. Не свои мучения страшат меня, Надя, а то, что я тебе буду вечной помехой. И вот видишь, не способен я в эту минуту ставить такой вопрос: либо я, либо твоя сцена. Я должен отказаться, а не ты.



Он обнял ее и опять беззвучно зарыдал. Надя чувствовала, как вздрагивает все его тело.

– Это ты... не зря, Ваня? – чуть слышно вымолвила она, чувствуя, как у нее в груди точно все заглохло.

Долго не мог он ничего произнести, потом отнял руки и откинул голову на спинку дивана.

– Не вини себя ни в чем, – начал он. – Откажись ты сейчас от сцены – я на это не пойду.

– Значит, ты сам разрываешь то, что между нами есть?

Не было раздирающего горя в звуках голоса Нади. Она была сражена – и только, и способна на жертву. Но внутренний голос подсказывал ей – кто из них сильнее любит другого: она или ее жених.

– Так лучше, Надя! Жертвы не хочу! Свобода тебе нужна теперь как воздух.

Трепетной рукой он начал снимать с пальца обручальное кольцо.

– Зачем? – почти испуганно спросила она, заметив это.

– Не нужно никаких напоминаний. И тыними... отдай мне. Чтобы ничто тебя не мучило.

– Ваня! Милый! Ты так меня...

Не договорив, Надя со слезами бросилась обнимать его.

Но оба бесповоротно сознавали, что иначе нельзя.

– Так лучше, – повторял он, стараясь придать своему тону более твердости.

И, отодвинувшись в угол, он спросил:

– Не пора ли тебе на репетицию? Иди. Может, переодеться нужно.

Время было действительно на счету. Через полчаса соберутся, и ей выходить в первом же явлении.

– Иди.

Они разом поднялись. Он положил ей обе руки на плечи и поцеловал в лоб.

– Это в последний раз! – прошептал он. – Но помни, Надя... когда ты почувствуешь, что ты на краю того оврага, куда так легко скатиться на сцене... помни, что у тебя остался товарищ... только товарищ, Иван Заплатин. Пошли за ним, когда еще не поздно.

Оба тихо заплакали.

Подъезжая к Москве, Заплатин проснулся. Он задремал, должно быть, не больше как на полчаса. А ночь спал дурно.

Сквозь полузамерзлые окна вагона проникал розовый свет морозного утра. В его отделении – для некурящих – было пусто. На одном диване, уткнувшись в подушку, спал пассажир, прикрытый шинелью.

Под колыхание поезда перед Заплатиным стали проходить картины его приволжской родины. Еще вчера он ехал на закате солнца по реке, вдоль длинных полыней. Кое-где лед потрескивал. Лошади бежали бойко. Ямщик в верблюжьем "озяме", с приподнятым большим воротником и в серой барашковой шапке, держался еле-еле на облучке кибитки, то и дело покрикивал: "Эх вы, родимые!" – с местным "оканьем", которое и у Заплатина еще сохранилось в некоторых словах, и правой рукой в желтой кожаной рукавице поводил в воздухе, играя концами ременных вожжей.

От городка до "губернии" нет еще до сих пор чугунки и считается тридцать три версты, а по льду и меньше.

Хорошо было ехать по накатанному пути. Полоса нежного заката тянулась то справа, то левее, меняясь с изгибами берега.

Справа все время поднимался нагорный берег, то покрытый сплошь снегом, то с хвойным лесом.

Тихо было на реке. Изредка попадались деревенские пошевни с мужиком в овчине и шапке с ушами или целый обоз. Кое-где у берега зимовала расшива или пароход.

Воздух был прозрачный, с порядочным морозом. От пристяжных шел пар. Они подпрыгивали в своих веревочных построюках с подвязанными в виде жгутов хвостами.

Ехал он с побывки, после двух недель безмятежного житья при матери, в их домике, на самой набережной. Она была сильно обрадована его внезапным приездом; только потужила немножко, что ее Ваня не встретил с ней Нового года.

Но она сейчас же стала особенно взглядывать на него. Должно быть, и в самом деле вид у него был нехороший. Она думала даже, что он долго лежал больной и скрыл это от нее.

О том, что он больше не жених Нади, он ей в первые дни не говорил. Но не выдержал, да и нельзя же было не предупредить ее.

Не обвиняя ни в чем Надю, он взял все на себя, напирая на то, что они настолько разошлись во всем, что брак в этих условиях невыносим.

Мать его уже знала от отца Нади, что она желает посвятить себя сцене, и призналась ему, что это ее стало тревожить.

– Разве можно связывать свою судьбу... с актрисой? – сказала она ему

в первый же их разговор об этом.

Но она не верила тому, что он – по доброй воле отказался от невесты. Не таков ее Ваня!

Спросила она его – как же быть с отцом Нади, пойдет ли к нему объясниться?

– Если он пожелает – пойду, – ответил он. А первый не буду являться. Надя ему сама напишет или уже написала.

Они с ним так и не видались.

И все эти две с лишком недели он ни у кого из местных обывателей не был в гостях, а только бродил, и днем и под вечер, по набережной, уходя далеко на реку, толкался в народе в дни базаров.

Студенческой формы он не носил, а ходил в полушубке.

Сколько раз припомнились ему сердитые речи его однокурсника Шибаяева.

Никогда еще до сих пор не чувствовал он того, как гимназия и университет удалили его от жизни, вот от всего этого местного люда, всего края. Очень уж он ушел в книги, в чисто мозговые интересы, чересчур превозносил интеллигенцию.

Разве Шибаяев не прав? Останься он – полтора года – с полным "волчьим паспортом", он был бы вышиблен из своих "пазов", превратился бы в умственного пролетария, ненужного неудачника, читавшего книжки, с десятком отметок по переходным экзаменам, с головой, набитой теориями, рядами фактов и цифр, ничего общего с жизнью народа не имеющих.

И в первый же раз пришла ему мысль, что было бы лучше, если б его тогда выслали из Москвы, без надежды на возможность нового поступления в студенты.

Теперь он уже к чему-нибудь да примостился бы, если б тогда перестал мечтать о государственном экзамене, другими словами, о каком-то китайском "манدارинате", об особом клейме, какое налагается на тебя, чтобы ты имел скорейший ход в добывании кусков казенного пирога.

И с каждым днем стихало внутри его души. Сердечная рана сочилась; но погоня за счастьем, за обладанием любимой девушкой так не дразнила его.

Он должен был отказаться от нее, не из мужского самолюбия, пока она первая не прогнала его, а из самых чистых побуждений.

Надя – как она теперь ни завертелась – поняла его, если не сердцем, то своей смысленной головой.

Во время своих прогулок он уходил памятью в отроческие и детские годы, любовно останавливаясь на некоторых особенно ярких

воспоминаниях.

Одно из них всплывало перед ним каждый раз, как он возвращался в сумерки домой, поблизости того места, где когда-то, лет пятнадцать тому назад, еще чернела глыба постройки, которой он, ребенком, боялся.

Это были старинные казенные варницы, где варили соль из местных источников.

Нянька и манила и пугала его детское воображение рассказами о том, какая там "большущая" печь, а над печью – такая же огромная сковорода и в ней кипит рассол.

Дым из варницы казался ему тогда особенным, не таким, как обыкновенный дым из труб обывательских домов. Итак, по восьмому году, он забежал туда с другими ребятами. Это было зимой.

И в его памяти выступали опять образы так живо, точно будто это было вчера.

В полусумраке большого сарая, у печи, где свистела и гудела жаркая топка, сидели два истопника, а сверху темнела огромная сковорода, и там кипел рассол, и оттуда шли густые пары, хватавшие за горло...

Ко дню отъезда он точно забыл, что ему надо возвращаться в Москву. Ничто его не потревожило оттуда. Он не получил ни одного письма.

Надя не звала его.

Значит, так тому и быть следовало.

Мать сказала ему:

– Что ж, Ваня... ты не от счастья своего отказался, а от тяжких огорчений в будущем. Ежели бы ты для нее был дороже всего... она бы по-другому поступила.

Старушка не плакала и, когда перекрестила его, сказала еще:

– Ты теперь в таком расстройстве. Будь поосторожнее. Подумай о себе.

В тихом настроении доехал он до губернского города вчера вечером; но сегодня, с приближением к Москве, в него опять начала проникать тревога, сначала как бы беспредметная.

Потом выплыла внезапно, без всякого повода, жирная фигура Элиодора Пятова, с его бритыми, пухлыми щеками, маслястым ртом и плутовато-фатовскими глазами.

И все опять забурлило внутри.

Вот он – новейший заправила – интеллигент города Москвы! Его степенство, мануфактурный туз и вместе меценат, будущий автор книги "Эстетические воззрения Адама Смита".

Ведь он – также студент, также выдержал выпускной экзамен, читает в подлиннике Софокла и Фукидида и может рассуждать о всех политико-

социальных теориях, и об Оскаре Уальде, и о Ницше, и о ком хотите, и написать фельетон или издать какие-нибудь никем не изданные материалы по биографии Беато Анджелико или Джордано Бруно.

Все может!

И он еще не из худших молодчиков, носивших и носящих в настоящее время темно-синий или светло– бирюзовый околышек.

Тут Заплатин вспомнил те пошлости, которыми его однокурсники забавлялись, прохаживаясь насчет еврея, их товарища, взявшего тему реферата, предложенного профессором.

С ними надо будет опять встречаться и разговаривать и считать их своими ближайшими товарищами.

А туда, на Моховую, в аудитории Нового университета, надо предъявиться сегодня или завтра. Лекции уже начались. Он зажился дома.

Через двое суток Заплатин сходил с крутых ступенек подъезда перед памятником Ломоносову.

Он был в сильном возбуждении.

Фуражка сидит у него на затылке, пальто распахнуто, щеки сильно побледнели от неулегшегося душевного взрыва.

Сейчас он схватился с двумя "молодчиками", и если б не приход "суба" – он не знает, чем бы кончилось дело.

На реферате того однокурсника, о котором он вспомнил, подъезжая к Москве, вышло нечто крайне возмутившее его.

Два оппонента, вместо того чтобы возражать по существу, взапуски стали предавать его травле.

Несколько раз профессор останавливал их и когда делал резюме, то сказал, что "недостойно развитых людей пускать в ход расовые счеты".

Он заплодировал этим словам, и на площадке тотчас после реферата – те два "националиста" подошли к нему, и один из них с вызывающей усмешкой спросил:

– Может, и вы из иерусалимских дворян?

А другой добавил:

– А мы думали, что вы из дворян, Господи помилуй!

Он дал на них окрик, какого они заслуживали.

Но они не унимались. Собрался кружок. Кто-то из их компании кинул ему:

– Извиняйтесь, Заплатин! Сейчас же!

Извиняться! Он был в таком состоянии, что у него в глазах заходили круги. Поднялся гвалт.

И когда "суб" стал разузнавать, кто начал эту схватку, – зачинщиком

остался он, Заплатин, и "суб" внизу в сенях у вешалок сказал ему внушительно:

– Вам бы, Заплатин, с вашим прошедшим, надо было себя потише вести.

Большими шагами пересек он двор и вышел из ворот, ближе к углу Никитской.

В самых воротах его остановил, почти с разбегу, Григоров в долгополом пальто и высокой мерлушковой шапке.

– Заплатин! Друг сердечный! Тебя-то мне и нужно. Нарочно бежал захватить тебя после лекции.

– Что нужно?

– Да что ты какой? Съесть меня хочешь?

– Говори! Можешь и на ходу рассказать.

– Хорош ты! Нечего сказать! Удрал домой – и хоть бы записку... А я на тебя рассчитывал! И вышло даже некоторое расстройство.

– Мне не до того было!

– Ну, а теперь ты от меня не отвертишься.

Григоров на самом углу Никитской, под часами, взял Заплатина за пуговицу пальто и держал его все время их разговора.

– Голубушка! Дело экстренное... Афиш не будет. Времени не хватит на хлопоты, да могут и не разрешить. В частной зале... у одной чудесной женщины – истинного друга всей учащейся молодежи.

– Учащейся молодежи! – повторил Заплатин. Ты это выговариваешь, точно это звание... вроде мандарина.

– Да ты полно бурлить! Словом, за двоих до зарезу нужно внести плату... Их уже похерили... вместе со многими другими.

– Я-то при чем?

– Коли ты читать не желаешь... а я на тебя рассчитывал... "Три смерти" Майкова. Я буду Сенеку... А ты бы мог изобразить...

– Слуга покорный!

– Ну, черт с тобой! Но в распорядители по ревизии билетов ты у меня не отбояришься. Нет!

– Избавь! Не пойду!

– Но это, наконец, не по-товарищески, Заплатин, – это Бог знает на что похоже!

– Пускай! Так и скажи всем, что у меня товарищеского чувства нет... Вот сейчас я бы тебя попросил полюбоваться, какие однокурсники водятся у нас теперь.

И он все еще вздрагивающим голосом рассказал Григорову, что вышло

у него в аудитории.

– В семье не без урода.

– И если не закрывать глаз, так каждый день ты нарвешься на таких же милостивых государей.

– Мои не такие!.. Клянусь тебе... Разве бы я стал?..

– Довольно!

Заплатин отвел его руку, которою Григоров придерживал его за пуговицу пальто.

– Окончательный отказ, значит?

– Окончательный. И можешь разносить меня во всех кружках! На здоровье! Прощай!

– Стыдно, брат Заплатин, стыдно! – крикнул ему Григоров вдогонку.

## XVI

Лампочка пахла керосином, уныло освещая номерок Заплатина.

Он лежал на кровати, одетый в старую студенческую тужурку.

Второй день у него жар и боль в затылке. К доктору он не обращался. Может, инфлуэнца; может, и другое что, на нервной почве.

Все равно – выходить ему не надо. На лекции он не будет являться.

Из-за него вышло целое "дело", и если начальство придерется к тому, что он из самых "злоумышленных", которых не следовало возвращать, то ему грозит, быть может, и настоящий волчий паспорт.

Что ж! Не Бог знает какая напасть не получить вожделенного свидетельства "по первому разряду".

Все ему глубоко опостылело. И чем скорее это будет, тем лучше.

Если его будут вызывать – он не явится лично. Он нездоров – пускай пришлют освидетельствовать. Да и и здоровый, он вряд ли бы пошел оправдываться на суде начальства.

Та сходка, где на него подана была жалоба от "однокурсников", от партии "националистов", – до сих пор гудит в его голове, как только он зажмурит глаза.

Там он не оправдывался, а громил пошлость и нравственное вырождение в своих якобы товарищах. И его поддерживало меньшинство смело и сильно; но из этого вышла общая схватка, галденье, чуть не рукопашная.

И зачинщик в глазах начальства – не кто иной, как он – Иван Заплатин.

Даже и то, что его поддержало самое лучшее меньшинство, не утешает

его, не может снять с души "оскомины", тошного и подавляющего чувства.

Хочется очутиться за тысячи верст от всего этого. Если б не эта надвигающаяся болезнь, он собрал бы свои пожитки и поехал искать Шибаева туда, в Гуслицы.

Хорошенько он не знал, одно ли это селение или целая местность. В сто раз лучше быть простым нарядчиком. Но в нарядчики тебя сразу не возьмут. Твое римское право и все другие премудрости там не нужны!

Видно, так было ему на роду написано: кончать банкротством и как возлюбленному, и как университетскому интеллигенту.

С тех пор как он вернулся с вакаций, он ловит себя на малодушной тоске, оттого что Надя ни одним словом не дала о себе знать. И в его отсутствие не пришло от нее ни записки, ни депеши.

Ничего!

В дверь просунулась голова коридорной девушки.

– Иван Прокофьич! – тихо окликнула она.

– Что надо?

– К вам... гость. Я думала, вы започивали. Можно впустить?

Заплатин сейчас подумал:

"Должно быть – педель?"

– Он в форменной одежде?

– Никак нет. В тулупчике.

– Попросите.

Ни о ком он не подумал из близких знакомых.

Вошел Кантаков – действительно в тулупчике, крытом сукном, и в больших сапогах.

Заплатин обрадовался ему.

– Садитесь... хоть на кровать.

– Нет. Я с морозу... А вы – слышу – третий день изволите валяться.

И только что Кантаков опустился на стул, поодаль от него, как спросил:

– Что за катавасия вышла у вас там, Заплатин? Вы, дружище, выказали себя превосходно. Я знаю все подробности. И вот вы сами убедились в том, какие теперь царят веяния и среди питомцев нашей alma mater. Но неужели вы явитесь козлом отпущения?

– К тому идет.

– Нельзя же так даваться живым в руки! Призывали вас?

– Пока еще нет. Я все равно не пошел бы.

– Это почему?

– Все опостылело, Сергей Павлович, глаза бы мои не глядели.



Волчьего паспорта я не боюсь.

– Что вы, дружище!

Кантаков быстро снялся с места и присел на край кровати.

– Мы этого не допустим. Ежели на сходке побурлили и не хотели расходиться...

– Из-за меня. Факт налицо – это во-первых. А вовторых – я зачинщик. На кого я напал? На господчиков, которые держатся расовой вражды.

– Это не резон. Антисемитами в Европе бывают и социалисты и анархисты.

– То в Европе!

– Только без нужды не брыкайтесь, Заплатин, даже и на случай разбирательства. Теперь вы нездоровы. Вон у вас какой жар. Никто вас силой не потащит. У меня будет теперь передышка... так, с недельку. Я буду вашим даровым юрисконсультлом.

– Спасибо! Только, Сергей Павлович, сказать вам начистоту?..

– Что такое? Вам вдвойне скверно?

Глазами Кантаков дал понять, на что он намекает.

– Одно к одному, – вымолвил Заплатин. – Да, я не скрою от вас... я потерял любимую девушку.

– Разлюбила?

– Я сам от нее отказался. Мне тяжело говорить.

– И не надо. Значит, вы теперь в особом душевном состоянии... вроде аффекта. Вероятно, и в аудиториях и на сходке у вас нервы ходуном ходили.

– Это мое дело.

– Но зачем же портить себе то, что можно взять от самой этой... alma mater, которая нас с вами так огорчает?

– Не стоит биться.

– Из-за чего?

– Из-за экзамена, прав, звания там, какого ни на есть.

– Не согласен с вами!

– В чинуши идти?

– Зачем? Вот перед вами тоже питомец университета... Не чиновник, не делец. Вы думаете, я – когда стоял на распутье, как Иван Царевич, – тоже не был заедаем скептицизмом? Идти в помощники присяжного поверенного... в брехунцы, в аблакаты? Что может быть более опошленное и жизнью и прессой? Всем! И вот я нашел себе дело... по душе.

– Удача! Кстати же талант!

– Талант – вещь наживная, Заплатин. Поверьте мне. Пускай мои благоприятели прохаживаются насчет этой моей специальности... "Ловкач!

Ищет популярности! Выезжает на защите народных масс, чтобы потом начать забирать куши!.." Не знаю: может, и я, с годами, опошлею. Ручаться и за себя нельзя. Но пока я комедии не ломаю... вы мне поверите. Разумеется, надо пить-есть. На это всегда найдутся процессы с порядочной оплатой.

– Вас увлекает успех, Сергей Павлович.

– Положим! Но успеха можно добиться и защищая разное жулье, расхитителей всякого чужого добра – en grand и en petit.

Оживленное лицо Кантакова, его выразительность и звук речей почему-то не действовали на Заплатаина.

Бойкий, умный молодой адвокат – быть может, будущая известность, – но в душу ему его призывы не западали.

– Сдавайте экзамен, и будем вместе работать. Я вас зову не на легкую наживу. Придется жить по– студенчески... на первых порах. Может, и перебиваться придется, Запатин. Но поймите... Нарождается новый люд, способный сознавать свои права, свое значение. В его мозги многое уже вошло, что еще двадцать-тридцать лет назад оставалось для него книгой за семью печатями. Это – трудовая масса двадцатого века. Верьте мне! И ему нужны защитники... – из таких, как мы с вами.

Кантаков встал и наклонился к изголовью.

– К доктору отъезжались?

– Нет.

– Хотите, пришлю... одного приятеля... ассистента по внутренним болезням?

– Увидим.

– И прошу вас, во имя нашей приязни, без меня ни на что не решаться. А завтра я еще забегу.

Помолчав, он спросил на ухо:

– Может, перехватить желаете?

– У меня еще есть. Спасибо, Сергей Павлович, за ваше неоставление!..

По уходе Кантакова он лежал с четверть часа, ни о чем не думая.

Разговор утомил его. Боль в голове как будто усилилась; в пояснице также ныло.

Ничего не хотелось, ни есть, ни пить чай. И так придется лежать не один день – может, это начало воспаления или тифа.

"И пускай!" – подумал он без страха, почти с полным равнодушием.

Опять голова коридорной девушки выглянула из двери.

– Иван Прокофьич! – тихо окликнула она.

– Что вам, Маша?

– Письмо... подали.

– Хорошо... положите сюда, на столик.

Когда она вышла, Заплатин долго не поворачивал головы к ночному столику.

Не все ли равно, от кого это письмо. От матери вряд ли. Она писала ему на днях, передавала свой разговор с отцом Нади.

Все это позади! И никогда не возвратится.

Он повернул голову минут через пять, и взгляд его упал на конверт.

Он узнал сразу – от кого. Такие конверты – у Нади.

Сейчас же он поднялся и дотащился до письменного стола, где горела лампочка под стеклянным абажуром.

Пальцы его вздрагивали, когда он срывал конверт с монограммой.

Почерк у Нади крупный и толстый – совершенно мужской.

Одним духом пробежал он все три страницы листка.

"Ваша матушка, – писала Надя, – сказала моему отцу, что если бы я действительно вас любила – я бы не выбрала сцены. Может быть, и вы того же мнения, Заплатин? Но не следовало, кажется мне, говорить так моему отцу. Вы возвратили мне свободу, а я не хотела фальшивить, не хотела и ломать свою жизнь потому только, что вы не хотите быть мужем будущей актрисы.

Зачем все это? И разве оно достойно такого передового человека, каким вы считаете себя?

Право, тот Элиодор, на которого вы так презрительно смотрите, до сих пор ведет себя как настоящий джентльмен... А что дальше будет – это зависит от того, как я себя сумею поставить с ним.

Мне, в сущности, все равно. Напрасно только ваша матушка расстроила папу. Мы были как жених и невеста едва ли только не для одного Пятова. И прекрасно, что я предложила вам на людях не говорить друг другу "ты".

Никаких счетов я не желаю, Заплатин, и если нам суждено встретиться, – я надеюсь, что вы воздержитесь от них..."

– Воздержусь!.. – выговорил он вслух, бросая листок на стол.

И Заплатин побрел к кровати. Голова горела, все тело было разбито.

*Баден-Баден, сент. 1900*